

Галим Шаграев

Свирепая нежность

или Двенадцать писем сокровенного человека

18+

Галим Наженевич Шаграев Свирепая нежность, или Двенадцать писем сокровенного человека

*http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=61553516
SelfPub; 2020*

Аннотация

Герой романа «Свирепая нежность, или Двенадцать писем сокровенного человека» старается пережить непростые условия пореформенной России исхода XX и начала XXI веков, когда последствия тектонического разлома уклада жизни всего общества то и дело испытывали повторные афтершоки заново выстраиваемых взаимоотношений между гражданином и государством. Надо обладать незаурядным мужеством, чтобы не выставлять пограничный, таможенный или санитарный кордоны вокруг своего – личного(!) – пространства. Возможно, потому сокровенный человек, от лица которого ведется повествование, – безграничен. Как безграничны море, степь, леса, поля... Герой родился, жил, живет и будет жить в огромной стране. В огромной стране – огромно все. Огромна драма. Огромна трагедия. Огромна комедия. И даже фарс – огромен. И, чтобы ничего не забыть, сокровенный человек записывает. Записывает, чтобы не

возникло желания разбрасывать камни. Сокровенный человек всегда найдет время додумать свои мысли и ответить на свои вопросы.

Галим Шаграев

Свирепая нежность, или Двенадцать писем сокровенного человека

Жизнь – это выстрел в упор.

**И культуру – самопознание жизни —
нельзя отложить на потом.**

Хосе Ортега – и – Гассет

Письмо первое **СУМЕРКИ**

...Я остановился и оглянулся.

Не впервые, конечно: и то и другое делал не раз, порою –
по два-три раза на дню.

Почему?

Потому.

Изменилось время.

Изменилось так быстро, что все до этого знакомое ста-

ло вдруг неузнаваемым и, как в «Божественной комедии» Данте, превратилось в сумеречно-дремучий лес, в непролазных дебрях которого терялись определенность настоящего и пусть контурная, но все же очерченность, будущего.

...Банальная борьба за власть в конце 80-х – начале 90-х годов XX века подняла температуру всех слоев обществ городов-миллионников, и особенно – Москвы.

Флюиды той борьбы, исходя из двух-трех противоборствующих кабинетов державного города, сгрудили на главных улицах и площадях столицы амёбообразно-студенистое колыхание многолюдно-черной толпы.

Лица, заинтересованные в собственном олицетворении самых могущественных институтов государства, двинули ту скользкую студенистую многолюдность на сокрушение действующих институтов власти того времени.

Именно скользкая студенистость многолюдно-черной толпы пробудила во мне первородный, однажды испытанный, но хорошо забытый, – почти животный, – страх.

На гребне толпы витийствовали глашатаи новых горизонтов.

Но, придя к власти и заняв ключевые посты в институтах уже нового государства, почти все глашатаи новых горизонтов занялись политической и экономической реформациями: собственность, которая еще вчера была достоянием всех граждан самого большого в мире государства, переходила в

руки немногих, персоналии которых определяли те, кто стал олицетворять наиболее влиятельные институты нового государства.

Перевод громадной – общественной – собственности в пользу немногих лишил многих своей – личной – причастности к целям, задачам и делам всего государства; это сводило на нет уверенность в будущем, а исход уверенности в будущем сбивал центровку души и, как следствие, – нарушал ощущение внутреннего равновесия.

...Потеря определенности настоящего.

Утрата очертаний будущего.

Отлучение от лично выраженной причастности к государству как к своей – главной – собственности.

Исход уверенности.

Сбой центровки души.

Нарушение ощущения внутреннего равновесия...

Этот далеко не полный, но очень четкий чувственно-оценочный ряд личного восприятия материальных и абстрактных объектов реальности не раз заставлял меня остановиться и оглянуться; вот и сейчас, – на исходе чуткой полудремы предутреннего сна, – сознание возвращало мне истоки подлинной причины превращения реальности в вязкие, непролазные дебри сумеречно-дремучего леса, и я снова оглянулся, и понял – звонит телефон; потянулся к трубке и не успел

– коротко пикали сигналы отбоя.

Сколько времени-то? – начало седьмого...

Да, конечно, можно еще минуты три-четыре полежать в теплой, уютной постели, причесать мысли, но пора вставать. скоро проснутся жена и дети, и все вернется к заведенному порядку – детки пойдут в школу, я и жена – на работу.

Пройдя на кухню, поставил чайник, и тут же глуховато-тяжелый звук прикосновения чайника и газовой плиты прервал резкий – предсмертный – визг кошки.

Выглянул в окно.

Два одичавших, грязных эрдельтерьера рвали котенка.

Собака, что покрупнее, аккуратно и одновременно брезгливо перебирая челюстями, отгрызла котенку голову, отошла на несколько шагов в сторону, легла на землю и, зажав передними лапами голову маленькой кошки с зажмуренными глазами, также, как незадолго до этого, – брезгливо перебирая челюстями, – аккуратно вгрызалась в основание черепа, добираясь до мозгов.

– Ужас! – тихо произнесла жена.

Я и не заметил как она встала; понял это, когда ее руки обняли сзади за плечи.

– Два дня назад эти же собаки разорвали здесь кошку, – растерянно произнесла Ольга: – У нас что, бобики, тузики,

рексы и черри перешли с «Педигри» на кошек?

...А я в это время видел станцию.

Видел грузовые и пассажирские поезда.

Первых было больше.

И везли они на платформах и полуплатформах штабеля круглого и пиленого леса; технику – легковые и грузовые автомобили, трактора, комбайны; стройматериалы – кирпич, цемент, щебень, песок; уголь и удобрения; на специальных платформах для крупногабаритных грузов – упакованные и неупакованные, поражающие громадностью агрегаты; в цистернах – нефть, бензин, керосин, мазут, разные кислоты; в вагонах-холодильниках – мясо, рыбу и другие скоропортящиеся грузы; в пульмановских – зерно, муку, овощи, фрукты...

Станция.

В шестидесятые годы прошлого века – четыре колеи железнодорожных путей.

В семидесятые, с освоением близости газоконденсатного месторождения, – пять.

Станция.

Место, где почти всегда что-нибудь грузили или разгружали.

...Соседние четыре колхоза и совхоз отправляли отсюда на мясокомбинаты овец, свиней, коров, лошадей и даже верблюдов; на фабрики – шерсть, кожи; на переработку и в торговлю – овощи, фрукты, рис и, конечно, – в череду неровно-ломких черных и светло-зеленых полос, чуточку продолговатые, с ярко-желтыми отметинами пролежин, увесистые, знаменитые астраханские арбузы, сотни тонн которых я перенячил и своими руками, работая во время школьных каникул на заготовительном пункте, а разгружали здесь технику, горючее, удобрения, стройматериалы, муку, соль...

Станция.

Место перемещения великого множества грузов.

Грузы...

Точнее – составы грузов; впервые увидев их еще маленьким мальчиком, я удивился великому множеству вещей, еще больше – невидимой и непонятной стороне того множества – все, что двигалось, приходило неизвестно откуда и уходило неизвестно куда, и долгое время казалось мне одним, но многоликим существом, которое само по себе преодолевало большие расстояния; по мере взросления, я, конечно, понял, – за движением грузов скрывались молчаливые воля и труд многих и многих неизвестных и чаще всего очень далеких от меня людей, благодаря замыслам которых изделия и продукты в определенные сроки доставлялись туда, где

они были востребованы, но, даже выявив свою скрытую суть и приняв очертания конкретных предметов человеческого труда, непрерывный грузовой поток не терял властительной составной незримости и оставлял за собой следы; выражением следа грузов был характерный набор звуков и запахов.

Звуки...

Разной тональности – то тягуче-протяжные, то спокойно-уверенные, то резко-короткие тепловозные гудки проходящих, делающих остановку или трогającychся с места составов; жестко-резкий металлический скрежет одновременно сдавленных или отпущенных тормозными колодками колесных пар множества вагонов; последовательная череда сначала сильных, затем – приглушено-тающих к концу составов ударов сцепленных между собой вагонов; короткие или длинные свистки составителей; блеяние овец, хрюкание свиней, мычание коров, ржание лошадей, особенный, не похожий ни на что – глуховато-внутренний, долгий – одновременный и рев и стон – верблюдов; людское разноголосье запасных путей, на которых обязательно что-нибудь грузили или разгружали; все это многообразие звуков тесно сплеталось с набором очень стойких и сложных запахов.

Запахи...

Станция была пропитана, напичкана ими, и, независимо от времени года, над всеми ее путями витали то смолистые,

отдающие свежестью чистоты веяния далеких лиственных и хвойных лесов, которые я видел только на фотографиях и картинках из газет, журналов и книг, то кисловато-горькие распространения нефтепродуктов, и – вначале быющие в нёбо, а затем медленно оседающие на зубах и языке и переходящие в кисло-металлический привкус ощущения большой массы металлов, то холодновато-тяжелые истоки мороженого мяса и рыбы, то летуче-легкие, сладкие ароматы овощей и фруктов...

Станция.

Место, где я увидел и ощутил пульс экономики огромной, могучей страны.

Экономика выражалась кратко, четко, емко.

Обозначала одним словом целевое назначение вагонов и цистерн.

Двумя, а нередко тремя числами показывала их грузоподъемность.

Писала мелом чьей-то вечно торопливой рукой на дверях вагонов или бортах платформ и полуплатформ названия станций отправлений и назначений и Архангельск или Махачкала, Воскресенск или Тольятти, Хабаровск или Минск, Тюмень или Волгоград, Казань или Челябинск, Тамбов или Ростов-на-Дону, Свердловск или Гурьев, Алма-Ата или Ташкент становились для меня такими же близкими, как

родная Астрахань, что была в ста километрах южнее.

Экономическую географию я узнал раньше, чем таковой предмет в школе.

...Насыщенно-оранжевыми весенними и летними или густо-синими осенними вечерами я со сверстниками часто ходил на, как мы называли его между собой, – Бродвей, – залитый светом фонарей перрон станции.

Перрон – место обязательных встреч, прогулок, свиданий.
А поезда шли и шли.

С севера на юг.

С юга на север.

В те вечера на станцию приходило большинство пассажирских поездов.

Приходило с постоянством судьбы в одно и то же время.

Они везли людей в далекие города, а, может быть, и страны.

С севера на юг.

С юга на север.

За полуосвещенными окнами вагонов люди читали газеты, журналы, книги.

По отдельности или группами ели, а могли просто лежать или спать.

Мне же больше нравились те, кто сидел у окна и думал.

...Щемящее чувство дороги и движения представлялись тогда уходом от привычного и достижением явно существующего за горизонтом чего-то незнакомо-привлекательного, необъяснимо-притягательного, и я представлял, как меняются на глазах людей картины необъятных пространств, и не раз мысленно пересекал с пассажирами тех поездов просторы великой страны – страны, которая незримо делала великим и меня и мою маленькую, степную, железнодорожную станцию с удивительно-ласковым названием Сероглазово.

Станция...

Место, где я понял самую знаковую картину своего жизненного пространства.

...Где-то в середине ноября составы с севера привозили на крышах вагонов снег.

И зима заявляла о себе задолго до своего прихода в нашу, – астраханскую, – степь.

Снег на крышах вагонов – первая в моей жизни бегущая строка информации.

Ее я увидел и прочитал здесь – на станции.

До того, как сам стал принимать и передавать тексты по

телетайпам, телексам и факсам.

И – задолго до гипертекста Интернета.

...Бегущая над землей строка белого снега.

Тонкая, прерывисто-светлая линия над вагонами на фоне серой, предзимней степи.

Линия та приходила из таких далей, которые не укладывались в голове.

Станция.

Место, где я впервые прочитал, но не понял умного молчания красоты.

...Я видел все это как бы с противоположной стороны настоящего.

Что делать?..

Мысль – причина любых действий.

Кирпич, как известно, падает на голову не сам по себе.

Потеря очевидной до этого определенности настоящего и пусть контурной, но все же очерченности, будущего и заставила обратиться мыслями к станции и – не только к ней.

Зачем?..

Затем.

Еще не скоро спадут оковы вязкой, тягучей, плотной и постоянной усталости.

Как будто вечность не пел или не слышал хороших, мелодичных песен.

Не хмелел с друзьями за хорошо накрытым столом.

И спал, будто не дома в теплой постели, а на холодной земле без крова над головой.

Так ли?..

Конечно, не так.

Я, может, несколько преувеличил значение событий исхода XX и начала XXI веков.

Но не преувеличил и того, что жизнь моя изрядно обесцветилась.

Почему?

Потому.

Для хороших песен не было поводов.

Хмелел?

Так не находил в том особой радости!

Спал?

Так ведь и не выспался!

...Уж не Геракл ли повинен в том?

Приятно, конечно, почувствовать в своих жилах кровь пусть мифического, но героя.

Однако, как бы ни хотелось того, простая арифметика говорит о другом.

К примеру, любое «я» – результат гениального замысла одной семейной пары, то есть двух человек – отца и матери,

отец и мать – воплощение замысла уже двух семейных пар, то есть четырех человек – двух дедов и двух бабушек, порожденных в свою очередь замыслом восьми предшественников – четырех прадедов и четырех прабабушек, за которыми незримо встают шестнадцать предпредшественников мужского и женского пола.

Дальше – больше...

Что бы ни говорили, плодовит человек, плодовит!

Через сто поколений в нашей родословной столько предков, что их число на несколько порядков превысит состав ныне живущего населения планеты Земля.

И нет в нашем генеалогическом древе места вымыслу об очень древнем герое.

Впрочем, я отвлекся.

Геракл, как утверждают мифы о его скитаниях по и за края ойкумены, дважды побывал среди наших просторов, и, если есть в том доля истины, при первом посещении, вступив в любовную связь с женщиной-полузмеей, стал родоначальником скифов, то есть многих, кто растворен в народах Евразии – жителей огромного субконтинента воды, леса, степи и гор.

Не потому ли Александр Блок писал:

«Да, скифы – мы! Да, азиаты – мы!

С раскосыми и жадными очами...»

Мы – скифы?

А, может, кипчаки или хазары?

Все может быть...

Однако спорить с блестящим представителем русского символизма не буду.

Почему?

Потому.

Похоже, время занимается одним и тем же: постоянным переливанием крови.

От человека – человеку.

От общества – обществу.

От цивилизации – цивилизации.

От века – веку.

От эпохи – эпохе.

От эры – эре...

«Секундочку, притормози! – остановил я себя. – Геракл зачал скифов, то есть нас, как бы между делом: для него важнее были подвиги, учет которых вели боги Олимпа».

Действительно, что мы, дети героя, для богов?

Так, результат недолгой, но пламенной страсти.

Однако какая же гремучая смесь получилась!

Сила и мужество сочетались с коварством мудрости, и доблестные предки оставили нам одну шестую часть всей земной суши.

Не то что люди, боги могут позавидовать такому наслед-

ству!

Так или иначе любовная утеха Геракла как-то греет душу.
А другой его подвиг – нет.

Зря прошел он через Рифейские, ныне – Уральские горы
– в Гиперборей.

Зря потревожил где-то на дальнем северо-западе титана
Атланта.

Почему не по душе второй подвиг Геракла?

Да потому, что обманул и обидел герой наказанного до
него богами титана, а обманывать и обижать, это знают даже
дети, – нехорошо.

...Подменяя на время Атланта, пока тот ходил за ябло-
ками своих внучек Гесперид, Геракл, взвалив на себя свод
небес, понял: не по силам ему удел чужой судьбы, просек,
что раздавит его тяжесть небесная, и, в самый последний мо-
мент, так виртуозно перехитрил титана, и так вернул ему его
судьбу, что Атлант ее сам взял и, оставшись с носом, види-
мо, не смог пережить обиду и, чтобы хоть как-то облегчить
свою участь, в сердцах бросает на нас свод небес; титан хоть
и фантастически силен, но, наверное, устает от тяжести, и
думает: «Потомки Геракла – люди нехилые, выдюжат. Оста-
новили же железные фаланги своего сородича Александра
Македонского на Яксарте – Сыр-Дарье, Вечный город Рим
взяли и уронили?.. Выдюжат, стерпят, а не стерпят – увер-
нутся, живут-то привольнее всех – земли немеряно».

Что же получается?..

Давным-давно надули друг друга одни, а отвечают за то другие.

Нет, определенно, у времени рыльце в пушку!

Чуть ли не изначально ведет оно с нами двойную игру.

С одной стороны, сохраняет для длительного пользования самые проникновенные тексты эпох и народов, а с другой – консервирует в них обманы и обиды; вот люди и возводят их в степень святости, и режут друг друга то за кусок земли с ее недрами, то за оскорбленные чувства, как говорится, плюнешь в морду – драться лезут.

«Сказка ложь, да в ней намек!

Добрым молодцам урок...» – утверждал Александр Сергеевич Пушкин, когда золотой телец, виноват, петушок клюнул в темя придуманного им царя, который не шибко донимал себя думами об управляемой стране и по лености душевной царствовал ею, лежа на боку.

Случается, вымысел вдруг берет и начинает стопроцентно соответствовать реальности, и нисколько не считается с тем, что ни я, ни моя станция, ни моя страна – не миф, а факт кардинально меняющейся жизни; вот и захотелось, когда власть на исходе 90-х годов прошлого века пребывала в летаргическом сне, остановиться и, чтобы поспешать не торопясь, перевести дух.

Накануне, – уже в который раз, – я перечитал перед сном

мифы о подвигах Геракла, и зеленый глаз железнодорожного семафора указал поворот на светло-синюю протоку в дельте Волги, и я вошел в согретую солнцем, прозрачную, теплую воду раннего детства.

Письмо второе

ПРОТОКА

... Там солнце купалось лучисто и жарко.

Вода протоки – почти без движения – прозрачнее и легче, чем на реке.

Золотисто-желтый песок ее берега глубоко прогрет солнцем.

Девочка, с которой знаком уже три недели, тихо трогает меня за руку и, прижав палец к губам, незаметно, чтобы никто не увидел, кивает в сторону протоки; лениво, как бы нехотя, отряхивая налипший на мокрое тело песок, я встаю, а ноги не гнутся, и сладко ноет сердце, – мне нравится быть с ней, и мы, случается, частенько уходим от почему-то ставшей слишком шумной для нас компании сверстников.

До девочки я ходил на протоку один.

Сколько в ширину та, моя, протока?

Шагов двадцать – двадцать пять, не больше.

Но лучистое отражение солнца здесь так близко, что, кажется, можно достать его рукой, но, как я ни пытался, как

ни хотел поймать тесно сдвинутыми ладошками блестящий сгусток отражения энергии, комок блескучего света упрямо отодвигался, уплывал, и, незаметно для себя, я оказывался у другого берега.

...Я ни разу не достал то блескучее, подвижное отражение солнца.

Потому лучше сесть на песке у самой кромки воды и, плотно обняв руками колени, зажмурить глаза и, слегка откинув назад голову, впитывать лицом и солнце и его искристый отблеск от воды.

Двойной поток света пронзает веки.

Заливает красновато-желтым кипением голову.

И – будто вошел в кипящее нутро самого солнца.

Тогда-то и нужно быстро открыть глаза.

И – все начинает кружиться.

Вода кажется небом.

Небо – водой.

А между ними – кувыркается и смеется солнце.

...Тогда я еще не знал: закон сохранения и превращения энергии связывает воедино все явления природы, а сохраненная и преобразованная энергия обладает свойством проявлять себя даже из глубины иных времен.

Видимо, я не случайно ходил на свою протоку один.

Пусть еще бессознательно, но я, наверное, уже начинал понимать: таинство – действие сокровенное и постигается в одиночку и, вкусив его ранние начала, догадывался: наступит время, и мне придется непременно подарить кому-то часть своего, освоенного и усвоенного мира, и тот, кого еще предстояло узнать, обязательно оценит значение того подарка и не испортит насмешкой или небрежным непониманием свое соприкосновение с таинством дара.

...Девочка зовет на протоку.

И мне приятно: на берег протоки привел ее именно я, именно я показал ей, что нужно делать, чтобы от солнца в воде кружилась голова.

Мы шли на протоку, и у меня прыгало сердце.

Я скрывал, что хочу взять ее за руку, а тут ее ладонь оказалась в моей.

И, как это бывало не раз, голову залил жар.

Жар тот стал постоянным спутником наших встреч.

Стоило увидеть девочку, как я тут же смушался, начинал краснеть, а остроглазые друзья, заметив это, смеялись, и, что неприятно, ехидничали, отпуская колкости; ни я, ни мои сверстники не знали – то было предвестие мучительно-сластного сочетания двух вечных и прекрасных начал этой жизни – мужского и женского.

Я густо покраснел и вырвал сразу вспотевшую ладонь из ладони девочки.

Она тоже засмушалась и покраснела.

И мне уже хотелось, чтобы с нами шли мальчишки и девчонки, оставшиеся на реке, а моя спутница только мелькала бы среди них.

Мы пришли на протоку.

Девочка сказала, что будет купаться, и стала раздеваться.

Она, я хорошо помню, не снимала одежды на реке и не купалась.

Не делала этого и здесь, на протоке, и так хотелось одного: чтобы она только присела рядом и, подставив солнцу и его отблеску от воды тонкое лицо, обняла колени руками и, как я ее учил, слегка откинув назад голову, зажмурилась.

И – знакомо закружилась бы голова.

Вода показалась бы небом.

Небо – водой.

А между ними – кувыркалось и смеялось солнце.

И я снова увидел бы на губах девочки влажный отблеск солнца.

Протока и девочка дарили мне новые ощущения.

И так хотелось, чтобы они повторялись и повторялись.

Но девочка, сбросив платье, и, осторожно вытягивая, перед тем как ступить на горячий песок, носочки, пошла к воде.

Увидев ее округло набухшие соски, я смутился и отвел в сторону глаза.

И узнал горечь от разрушения тайны человека.

На другой день мы снова были на протоке.

Осторожно вытягивая, перед тем как ступить на горячей песок, носочки, девочка снова входила в тихую воду и оставляла за собой маленькие, плавные полукруги маленьких, плавных волн, а я сидел на берегу и не мог прийти в себя.

Она сказала, что скоро уедет и ей грустно от того.

До ее отъезда я плохо спал.

И – познакомился с тоской.

Через неделю соседи провожали мою знакомую к поезду.

Я видел девочку в последний раз.

Все, что сделал, – коротко махнул ей со ступенек крыльца.

Она махнула в ответ и улыбнулась.

И я запомнил ее прощальную улыбку.

И впервые испытал ощущение утраты.

И – познакомился с разлукой.

Но я помнил ее и время от времени приходил на протоку.

Однако прозрачная и легкая ее вода перестала улыбаться солнцу.

И я узнал, что в этой жизни есть и пасмурные дни.

Потом была зима.

Плохая зима: я надолго заболел.

Катался на своей протоке на коньках, и там, где купалась девочка, увидел вмерзшую в лед маленькую рыбку. Сбросив валенок, и расшнуровав конек, я стал откалывать им лед вокруг рыбки: показалось, – во льду замерзла моя девочка, и, заплакав от обиды, откалывал и откалывал коньком лед, сломал до крови ноготь большого пальца, но застывшая вода была твердой, как камень.

И я узнал безысходность.

И – еще неясную по своей природе, но, – существующую на свете, – тревогу.

Письмо третье

ТЕКСТЫ

...Неясная по своей природе, но, – существующая на свете, – тревога.

Когда я испытал ее в полной мере?..

Давно.

И – через явь во сне, а, может, – сон наяву.

...Я видел смутное начертание небольшого по объему текста, но слова его не читались: пелена предутреннего сна скрывала смысл полуразмытых и потому непонятных слов; но именно они – непонятные слова – и стали предвестниками догадки; и, пусть еще неясно, но приходило понимание, – видение то есть знаковое выражение ощущения времени, ощущения больших и малых событий, больших и малых перемен, которые, хочу я того или нет, накладывают отпечаток и на мою собственную жизнь, и в тот миг, когда пришла радость озарения, ее смяла непонятная тревога.

То был толчок.

Я проснулся.

Быстро, без характерной иногда для утреннего пробуждения вялости.

За окном – темно.

Осторожно, чтобы не разбудить жену, долго искал тапочки.

Не найдя их, включил торшер.

Зеленые глаза электронных часов показывали без пяти три.

«Всего три?..» – удивился я, и под впечатлением сна гадал: к чему был тот текст, что он предполагал?

И, только закурив на лоджии, понял: сходные вопросы уже задавал себе. Перед сном точно так же курил здесь, точно

так же вспоминал о тексте, – только другом, – засланном в набор; он уже опубликован известной утренней газетой, но между ними, видимо, есть своя связь.

...По выработанной годами привычке, бегло, останавливая взгляд на ключевых словах, я оценивал сообщение.

Небольшая информация ТАСС.

Ракета-носитель вывела на орбиту восемь спутников.

Через три часа, – за двадцать минут до подписания номера газеты в свет, – пришло еще одно сообщение: вторая ракета-носитель вывела на орбиту уже девять спутников.

«Недурно, но не много ли? Два носителя и семнадцать спутников! Не хухры-мухры, можем ведь! – мысленно воскликнул не без гордости я. – А вообще – хорошее слово «спутник». Теплое. Неужели орбита его движения – сфера и моего влияния?» – думал я, засылая в набор новое сообщение.

Курьер принес с участка верстки оттиск первой страницы.

Колонка, в которой разместились сообщения ТАСС, показала сгустком неясной, тревожно пульсирующей энергии, и, усиливаясь, начинало беспокоить ощущение дискомфорта; оно не проходило долго и не позволяло подойти к оттиску сероватой бумаги на стене, чтобы проверить правильность написания, размещения и оформления рубрик, заголовков и иллюстраций будущей газетной страницы.

Колонка пугала.

Показалось: она разбухает, а слова, не выдерживая внутреннего давления скрытой энергии, начинают расплзаться и вот-вот рассыплются на буквы, разбегутся неведомо куда, так и не раскрыв причин нарастающей тревоги.

За ней – тревогой – остро таился страх: есть время, дата и место запуска спутников, но нет целевых характеристик, и непонятно зачем, для чего они запущены?

Захотелось, чтобы в номере не было сообщений о запусках ракет и спутников; захотелось поменять пульсирующий источник нервной энергии на другую информацию, лишь бы ушло то, что может внушать не столько подспудную тревогу, сколько страх. «Пусть погоду определяют с самолетов, – думал я, – пусть спутники могут управляться, способны самоуничтожаться, пусть их остатки не долетают до земли, сгорая в плотных слоях атмосферы, пусть... Но кто знает: какую мысль передали на орбиту? А, может, просто расшалились нервы? Может, хватит тянуть ляжку? Пора в отпуск?..»

...Я вспомнил о той неожиданной тревоге, когда, радуясь, что наконец-то дома, умиротворенно курил на балконе и время от времени бросал взгляд в спальню, где кокетливо сбитый на бок абажур торшера высвечивал конусом света краешек приспущенного до пола одеяла, видел оброненную спящей женой книгу с замятой страницей, которую не догадался поднять, и думал: сейчас зайду, сяду на краешек по-

стели, жена привычно подвинется, заулыбается сквозь слегка потревоженный сон и, выпростав из-под одеяла руку, найдет мою ладонь, положит ее под щеку, из-под одеяла вырвется тепло ее тела, защекочет ноздри сладковатый, телесный запах сомлевшей от сна молодой, привлекательной женщины. «Тоже ведь спутники... Только кто из нас в большей степени?» – думал я и, подогреваемый истомой полумрака спальни, уже гасил сигарету, когда, близко, почти над крышей соседнего дома, полоснув звездосвод тонким лезвием трассирующего, светящегося следа, пронесся сгусток космического тела.

Осколок далекого, непонятного, живого или неживого мира сгорел в атмосфере, и снова наплыл, взбудоражил успокоившиеся было нервы безотчетный страх, и я, натыкаясь в ночную прохладу косяка и оконных стекол, не мог нашарить спасительную ручку двери лоджии...

Письмо четвертое

ОХОТА

...Сколько прошло с тех пор?

Много воды утекло.

А видения текста не проходили.

Они стали моими постоянными спутниками.

Беспокоили.

Преследовали.

Настигали в самые неподходящие моменты.

...Конец июля.

Степь.

Полдень.

Мы идем под палящим солнцем.

В полдень в степи царствуют только солнце и тишина.

Жизнь в опаленном потоком горячего белого света пространстве замирает.

Даже суслик пребывает в полуденном отдыхе и не стоит столбиком у норы, любопытствуя, а кто это идет?

Если честно, хорошо, что я откликнулся на просьбу Аскера и пошел с ним на охоту.

В отпуск к родителям я приезжаю не только ради них – мне хочется снова увидеть и снова ощутить необъятность просторов степи.

Степь в чем-то похожа на море: и степь и море – необъятны.

И я одинаково люблю эти две бесконечности пространства.

...Моноotonно-ровная, молочно-белесая бескрайняя поверхность.

Покачивание реюшки – большой морской лодки.

Запах снасти и рыбы.

– Море, – сказал отец. – Скоро увидишь рыбу, много рыбы...

Видимо, отец не так меня понял: ловлю рыбы я каждый день видел и на реке, поэтому хотелось увидеть громаду вод Каспия, о чем часто говорили родные и соседи, вот и упрашивал отца взять хоть разочек с собой, взять туда, куда уходили и откуда возвращали настоящие мужчины.

Мой род из ловцов.

Однажды я назвал двоюродного дядю рыбаком, и он серьезно обиделся.

И, кривя губы, счел нужным уточнить:

– Мы – не рыбаки, мы – ловцы. Мы ходим в море!

Его последняя фраза обозначила характер: ловцы – те, кто бросает вызов морю.

Правда, платят за то дань: выйти в море – еще не значит вернуться.

Ловцы – люди удачи, а умелая постанровка сетей и знание моря – основа их успеха.

...Накануне вечером отец и соседи-ловцы решали мой вопрос.

Они долго и громко говорили у нашей реюшки.
Отец, видимо, спорил и смог одолеть возражения.

И вот – море.

...Моноotonно-ровная, молочно-белесая бескрайняя поверхность.

Покачивание реюшки.

Запах снасти и рыбы.

Рыбы было много, и – даже очень.

И вся она – крупная.

Сети, которыми брали ее, – с ячейей в пять пальцев с про-светом.

Ловцы называют их режаками: мелочь пролетает через них со свистом.

Сети выходили из моря.

Сети несли рыбу.

Море, сети и рыба заставляли мужчин азартно и радостно кричать.

Море, сети и рыба делали мужчин веселыми.

Мужчины занимались своим делом: делом, которое знали и любили.

...Тяжелые, будто из бронзы, никак не меньше метра, са-

заны.

Бледно-голубые огромные судаки.

И – веретена с характерными шипами на спинах и боках – стерляди и осетры.

Рыбы выгибались.

Высоко подпрыгивали, особенно сазаны.

Тяжело падали.

Сильно и гулко били хвостами по палубному настилу реюшки.

Снова выгибались и снова подпрыгивали, а потом, исчерпав силу, слабо извивались.

...Детское восприятие поражали красота и тяжелая сила больших рыбин.

Очень скоро ими наполнили всю лодку.

И красивые рыбины теряли облик в бурях, слабо шевелившихся огромных кучах.

Больше всего я жалел о пропадавшей красоте тяжелых, упругих рыбин.

Сазанами, судаками, стерлядью и осетрами набили все три рыбных отсека реюшки, залили их водой и закрыли деревянными люками.

Реюшка настолько сильно осела в воду, что стало страшно: так и утонуть недолго, но ловцы не обращали на то никакого внимания и, довольные уловом, шутили и смеялись, и мой страх уступил место чувству обиды – красивые, боль-

шие рыбины находились в тесной темноте, – в море им было лучше.

...В бескрайне-ровном и монотонном однообразии степи – своя красота.

Красота неочевидная, скрытая безмолвием и необъятностью пространства.

В отличие от моря степь надежна.

Но от впечатления, что идешь посуху, как по воде, не уйти.

Идешь, идешь, а она – степь – не кончается.

Но главное в том необъятии – полынь.

Она – везде.

Впереди.

Слева.

Справа.

Сзади...

Полынь – трава с прямыми метельчатыми стеблями бледно-стального опушения.

Ее цвет – основной колорит степи.

Уходя вдаль, цвет бледно-стальной цвет полыни сливается с линией горизонта.

На месте стыка земли и неба плавно перетекает в синеву.

А синева незаметно переходит над головой в огромный горячий белый круг.

В середине того круга – почти невидимый диск солнца.

...Мне часто приходилось бывать в степи; если в детстве манила ее потрясающая необъятность, то, повзрослев и работая в колхозе, я был уже буквально прикован к ней частыми поездками, и всякий раз именно в степи перед глазами возникал монах с гравюры учебника истории средних веков; дойдя до края земли, монах пробивал головой небесную полусферу, а я же, как когда-то в раннем детстве, как ни пытался, так и не прикоснулся к блескуче-подвижному отражению солнца в теплой воде протоки, так и здесь, – в степи, – ни разу не дошел до места стыка земли и неба.

– Значит так, терпи! Пять километров пойдем на своих двоих...

Аскер снял брюки, тенниску и забросил их на заднее сиденье «Нивы».

Охотник – высокий, поджарый сорокасемилетний мужчина.

Легкость его фигуры не вязалась с размеренной, неспешной походкой.

И то и другое удивляли.

Так удивляют иногда крепко сбитые, грузные мужчины, бывая подвижными, как ртуть.

Аскер остался в цветных семейных трусах.

На ногах – легкие плетеные сандалии.

На голове – белая войлочная панама.

И так не вязался с его пляжным обликом пятизарядный карабин Симонова.

Меня все тянуло спросить: всегда ли он так ходит на охоту, но Аскер упредил.

Прижав палец к губам, намекнул: все, что требуется, – тишина; о том он говорил еще по пути, и просил не нервничать и не курить; моя задача – смотреть и запоминать, а полезная нагрузка – термос с охлажденной кипяченой водой.

По примеру охотника я тоже разделся и тут же обгорел, но дорога к логову и выстроенная в мыслях модель ожидания небезопасной встречи заслоняли болезненные ощущения от неприятного жжения кожи.

– Пришли...

Аскер произнес слово, едва шевеля губами, и сел на сброшенную панаму.

Нам надо было отдохнуть и отдышаться.

Мы, чтобы не вспотеть, специально шли медленно.

Когда что-то делаешь специально, требуется особое напряжение сил, и трудно не вспотеть, а тут как раз потеть-то и нельзя: пот, усиливая запах, выдает человека издали, и волк не станет дожидаться тебя и просто уйдет, и твой труд станет напрасным старанием.

Аскер снова прижал палец к губам: теперь нужна полная тишина и осторожность.

Нам осталось перебраться через гребень отлогого бугра.

На его противоположном склоне небольшое углубление – логово волка.

По весне охотник выследил здесь трехлетка-одиночку.

Видимо, молодой самец не стал обзаводиться семьей, а родную уже покинул.

Степные волки, как и лесные, часто используют брошенные старые норы барсуков, енотов, лисиц или, прогнав тех с полюбившегося им места, заваливают землей ствол норы и несколько расширяют вход: они не любят глубоких убежищ.

...Я еще подумал: а не собака ли это?

Уж больно по-домашнему разбросал свои лапы волк.

И, как-то по-щенячьи поскуливая, вздрагивал.

Наверное, видел тревожный сон.

Осторожно, на цыпочках, мы подошли к нему почти вплотную.

Не доходя до зверя семи-восьми шагов, Аскер оглянулся, попросил взглядом отойти меня подальше, и, направив карабин на зверя, нацелился, и – легонько свистнул.

Волк упруго вскочил.

И – особый запах зверя: тяжелый, сопряженный с трупным.

Это не унылый обитатель клетки московского зоопарка, а настоящий зверь.

Зверь, который добывает пищу сам.

Вон сколько белеет вокруг костей овец и сайгаков.

Некоторые до сих пор исходят запахом гниющей мышечной ткани.

...Взбугрив загривок, волк, чуть присев на задние лапы, напряжился.

Собрав на узко вытянутой морде и вокруг глаз морщины, обнажил клыки.

Глухо зарычал.

На короткое время стал прекрасным, сильным зверем.

Но выстрел в упор оборвал ощущение недолгой красоты.

...Маленькая красная дырочка на лбу чуть выше глаз.

Вывернутая выходом пули левая лопатка.

Скомканное тело волка отбросило назад и чуть вправо.

Мне стало неудобно.

Я всегда любил хорошую, классную работу.

Но обыденная простота, с которой Аскер исполнил и показал свою?..

Она убила ожидания.

Видимо, не зря говорят: простота хуже воровства.

Впрочем, чего ждать от профессионала?

Любой профессионализм в своей основе отдает здоровым

цинизмом.

Вот и Аскер, охотник в третьем поколении, знает: взять спящего степного волка ничего не стоит; после ночного нападения на отару в жаркий летний полдень он спит без задних ног.

Так брали волков дед и отец охотника, так берет их и он – Аскер.

Действия просчитаны и отработаны долгой практикой до мелочей.

Но работа, которая имела для меня свою, и очень самостоятельную, загадку, утратив сопряженность с таинством и риском, убитая холодным расчетом, стала для Аскера обыденным, доведенным до предельного упрощения, делом.

Видимо, так оно и должно быть.

Но неужели любой профессионализм в своей основе жесток и расчетлив?

Все те мысли – только промельк.

Их заслоняло нечто большее: волк не успел что-то сказать.

Это я знаю только теперь: безмолвное умеет говорить.

Но говорит, увы, уже костями.

... Через год, будучи в отпуске, спросил у родителей: «Что-то не видно Аскера, где он?»

Отец и мать не ответили.

И только спустя некоторое время мать, перематывая с веретена пряжу, сказала, ни к кому особо не обращаясь:

– Болел Аскер... Сильно болел. Родня возила его по больницам, возила, да без толку. Он ведь, сынок, спящих волков брал, спящих... Да и дед, и отец его делали так. Они, считай, и не работали вовсе. След нашли, логово нашли, когда надо пришли, и – все дела, а зверь, он хоть и зверь, – душу имеет. Вот мой отец настоящий охотник был: он ходил за волком. Помню, днями за ним ходил, покоя ему не давал...

Мать отложила веретено и моток пряжи на краешек стола.

Внимательно посмотрев на меня, озадачила:

– Ты где родился?..

– В селе... Кара-Бирюк...

Растерянно произнес я, а перед глазами поплыла строка о месте рождения из метрики.

– То-то и оно...

Мать подумала, вернулась к прерванному делу и попросила:

– Переведи Кара-Бирюк на русский.

– Черный, насколько помню...

Скрытый смысл ключевого слова дохнул дуновением сквозняка, и я осекся.

– Нет. Не волк...

Ответ матери заслонил от сквозняка.

Она покачивала в руке перемотанным с веретена клубком.
Но пряжу речи, видимо, не закончила.

– «Қара» по-казахски не только «черный», «қара» это еще и смотреть, и видеть, а «бұйрық» – много чего означает, много чего... Только не о том я... Волки, сынок, – произнесла задумчиво, – считай, наши родственники.

Я удивился: в последнее время встречи с отцом и матерью редко обходились без неизвестных мне фактов.

– Они мне жизнь сохранили.

Мать, делая в уме вычисления, подняла вверх глаза.

– Сколько мне тогда было?.. Лет десять, может, одиннадцать...

– Десять тебе было, десять! В тридцать девятом дело было!

То подал голос отец.

...У моего отца была феноменальная память: он помнил не только важнейшие события – дни рождений, дни свадеб, дни смерти не только всех родных и близких, но и многих соседей, и такие случаи, которые имеют особенность как-то замыливаться в памяти, к примеру, кто и когда пошел в школу или в армию, кто и когда заболел, с кем и когда приключилось то или иное забавное или не очень забавное происшествие – помнил те вехи до подробностей обстоятельств, вплоть до состояния погоды на дворе.

Отец занимался самоваром и вполуха слушал рассказ матери.

Он вышел на пенсию, проработав сверх положенного срока больше пяти лет.

Но, даже выйдя на пенсию, продолжал тосковать по работе, и, чтобы реже возвращаться мыслями к временам активной деятельности, как говорил, сделал себе «праздник души».

И превратил в праздник обыкновенное дело – растапливание самовара.

Редко когда доверял он самовар кому-либо.

Растапливал его только чурочками сухого саксаула, абрикоса или вишни.

Для спиливания сушняка сделал специальную маленькую ножовку.

Сушняк распиливал опять же на специальном верстачке.

Он считал: только саксаул, абрикос или вишня дают воде хороший жар, а чаю – неповторимый аромат, и если мать добавляла в топку самовара прессованный овечий помет – в отличие от сушняка, он дольше хранит тепло – разбор полетов следовал тут же, – кому, простите, нравится нарушение заведенного тобою порядка?

– Он помнит все!..

Мать с уважением посмотрела на отца.

Во взгляде – неизменно-горделивое: «Это мой мужчина!»

Покачивая перемотанным с веретена клубком, продолжила:

– Пошла я за водой на реку. Зима. Только достала из проруби ведра, только собралась их на коромысло взять, а вокруг – волки. Сидят кружком, штук девять-десять, наверное, не считала, не до того было. И страшно, и интересно. Ни звука не слышала, ни тени не видела. Как подошли? Когда? Не знаю. Думаю, все... Будет мама косточки мои собирать. Что делать? Заплакала. Обратилась к старшему волку: смотрел он, как только человек умеет смотреть, и говорю: «Не трогайте меня. Я вам ничего плохого не сделала. Отпустите, я ведь и не жила совсем!»

Продолжая покачивать клубком пряжи вверх-вниз, мать определяла его вес.

Определив, удовлетворенно заметила:

– Твоим мальчишкам на носки хватит.

И продолжила прерванную мысль:

– Знаешь, не тронули. Тот волк, будто все понял, повернулся и пошел в сторону леса. За ним – след в след – остальные. Меня, думаю, отец мой и спас. Он, когда шел по следу бирюка. Бір...

Мать перешла на родной для нее казахский язык:

– Бір – значит один. Одинокие, сынок, не столько одино-

ки, сколько сильны. Будь то зверь или человек.

Выдержав паузу, во время которой что-то обдумала, задумчиво произнесла:

– Человек, правда, может оказаться брошенным. Хорошо, что вы помните нас и навещаете. Мы с отцом гордимся всеми детьми, но особенно тобой и твоей семьей. Вы уедете, а мы рассказываем людям, какие у вас чемоданы красивые, а у детей – рюкзаки, и какие вы подарки в них привезли. Брошенные детьми старики и старухи завидуют нам с отцом и плачут. Чтобы утереть им слезы, я, сынок, их конфетами вашими угощаю.

Мать вздохнула и вернулась к тому, от чего ушла:

– Бір... Извини, бирюк... Русские зовут так одинокого волка или кабана, а еще – одинокого или нелюдимого человека. По-казахски это ни то, ни другое, да и «бирюк» звучит не так: «бұйрық»... Много чего означает это слово, много чего... И приказ, и наказ, и веление, и хорошее пожелание, а у нас – на Нижней Волге – судьба... Так что ты родился не в селе «Черный волк», а в селе «Смотреть судьбу». Так вот, о чем говорила-то?.. Да... О волках-одиночках... Сильный зверь, сынок, не терпит стаю. Сильный зверь оставляет сородичей и смотрит свою судьбу сам. И добычу свою берет один. Волк-одиночка может взять даже лошадь. Изнурит ее гоном и бьет ее, усталую, в жилу сна, и отскакивает в сторону. Помню, идет отец мой по следу, и с волком, которо-

го не встретил, как с человеком разговаривает. До сих пор слова его в ушах стоят: «Волк – зверь сильный, и проклятия у него сильные. Я с ним не зря говорю: к смерти готовлю. Неготовый к смерти проклятиями достанет и меня, и потомство мое...» Так что Аскер для меня от проклятий волков умер. Мы с отцом не раз думали о нем и боимся за тебя. Зря ты с ним на охоту ходил, зря... Помяни мое слово, твой волк еще придет к тебе.

...И волк пришел.

Он обозначился в проеме закрытой двери – сразу и весь. Он будто прошел сквозь дверь.

Страшно худой.
Облезлый.
Жалкий.

Не волк, а нечто из неприятных клочковатых комков облезавшего подшерстка.

Глубоко переводя дыхание, он часто водил рельефно запавшими ребрами боков.

Но смотрел зеленовато-карими глазами пристально, вдумчиво.

Я онемел.

И понял: перед ним открывались не одни двери.

Он изучающе смотрел на многих, и только теперь знает: достиг цели.

Отставляя в сторону вывернутую выходом пули левую лопатку, чуть клонясь налево, он беззвучно подошел ко мне, ткнулся черным, прохладным комочком носа в колено, глубоко втянул воздух и, тихо, по-свойски, словно то место было заведомо его, угнезвился на коврик у моих ног и, вытянув по-собачьи лапы, устало зевнул и... заснул.

И теперь знаю: он досматривает свой – некогда прерванный и мною – тревожный сон.

...Время от времени я глажу его тяжелую, лобастую голову.

Изгиб ладони находит чуть выше глаз маленькое, круглое отверстие.

Края ее влажны от сукровицы.

Наконец-то он сказал о том, чего не успел, когда выстрел в упор оборвал в нем недолгую красоту истинного зверя: «Меня убили, когда я не был готов к смерти...»

Утешает то, что давно обозначенная, неясная по своей природе, но, – существующая на свете, – тревога удержала, и я не стал выполнять просьбу Аскера и не рассказал о его работе в известной столичной газете.

Убить, оказывается, очень просто.

Письмо пятое

МОСКВА

...Как-то вечером Ольгу прорвало:

– Учительница целый урок говорила Алешенькиному классу о взрывах. У подъезда ее дома кто-то оставил подозрительную, по ее мнению, машину. Она звонила в милицию, вдруг взрывчатка заложена. Разумеется, милиция ехала долго. Конечно, машину переместили подальше от дома, ничего, кстати, не нашли. Представляешь?.. Весь урок – о последних страстях – весь урок! Не домашние задания спрашивала, не новую тему рассказывала... Да, время тревожное, кто бы спорил: детям нужно говорить об опасностях, но неужели она не понимает, что, тиражируя свои страхи, вкладывает их – свои страхи – в головы детей и способствует умножению всесилья насилия?.. Не целый же урок говорить об одном и том же: как ждала милицию, как и чем оттаскивали машину, какая собака обнюхивала салон и багажник...

– А мальчишки и девчонки не слушали ее и баловались. Писали друг другу записки. Я даже домашние задания на завтра по математике и русскому сделал, – включился в разговор младший сынишка-шестиклассник, отрываясь от очередного тома Всемирной истории.

...То были всплески энергии большой политики.

Москва была, есть и будет городом большой власти, городом большой, – мировой, – политики, городом больших де-

нег.

На ее маленьком пяточке – вокруг и внутри Кремля – творилась, творится и будет твориться история государства, и каждый правитель вносил, вносит и будет вносить в облик столицы неповторимые штрихи своего времени.

На исходе XX века, особенно в последние шесть-семь лет 90-х годов, центр и окраины Москвы отстроились фешенебельными зданиями банков, гостиниц, фирм, учреждений федерального уровня, жилыми элитными домами; сооружения с использованием самых современных строительных материалов вписались в державную суть столицы и не нарушили ее архитектурного облика, не стали чем-то неожиданным, а, напротив, явились приметами нового периода в истории страны, придав облику города несвойственный до этого лоск; в то же время на улицах, на вокзалах, на транспорте, особенно в метро и на пригородных электропоездах, появились толпы молодых и не очень молодых людей, жаждавших успеха, а со временем ставших банальными коробейниками – разносчиками мелких товаров – они раздражали постоянными приставаниями купить что-нибудь, но нездоровье общества в большей степени проявлялось в бродягах и бездомных, беженцах и попрошайках; все они стекались в богатый город из бедной российской периферии, из мест вооруженных и иных конфликтов; долгое время и на улицах, и в метро, а нередко и на пригородных электричках побирались и московские бабули – светлые, ясные старушки, отдающие отчет

неприглядности своему положению, а голодные старики без стеснения копались среди бела дня в мусорных контейнерах – ожидание стариками и старухами мизерных пенсий доходило до трех-четырех, а то и пяти месяцев.

Я не видел такого в той – своей – стране, а вот в новой – довелось.

Отзвуки большой политики приходили в дома и семьи и через ведущих основных политических программ на каналах телевидения; они, наверное, по-своему честно отработывали хлеб, но слишком часто заостряли внимание на постоянных политических противоборствах, отставках, назначениях, скандалах, нередко в их передачах превалировала откровенная ложь и агрессивное хамство, переход на обнажение личной жизни; сюжеты их программ входили и в мои поры, отравляя и высушивая душу.

С противоположной стороны сумерек настоящего все становилось более обнаженным.

...Я стал очевидцем тектонического разлома уклада жизни своей страны.

И – еще не пережил его исхода.

Не пережил.

Мне – сложившемуся и самостоятельному человеку – вдруг предложили начинать свою жизнь заново.

Это оскорбляло.

Я имел не только престижную работу, городское жилье,

семью, но даже дом в деревне.

И с благодарностью довольствовался теми – главными – дарами жизни.

И вдруг ощутил себя... бездомным, и – страшно одиноким.

Почему?

Потому.

У меня отняли страну, в которой я родился.

И потеря именно страны стала самодовлеющей, главенствующей.

С меня будто содрали внешнюю, но очень важную – защитную – оболочку.

И оказалось: ощущение принадлежности к своей стране дороже всего.

Дороже социального положения.

Дороже денег.

Дороже даже интересной работы.

Драма тех лет перечеркнула основы моего целеполагания.

Я был государевым слугой: я и жил, и служил.

Теперь – только живу.

Но, как ни странно, не нахожу в том особой радости.

И переживаю: передача громадной общественной собственности в пользование немногих лишила многих соб-

ственной – личной – причастности к целям, делам и заботам всего государства и абсолютное большинство людей утратило не что-нибудь, а мистику – то есть сверхчувственное единение всех с государством и сверхчувственное единение государства со всеми своими членами.

Вот в чем причина отсутствия радости.

Вот что стало очевидным с противоположной стороны настоящего.

Вот в чем основа вязкой, тягучей, плотной и постоянной усталости.

Письмо шестое

СИЛА СИЛЬНЫХ

...Вязкая, тягучая, плотная, постоянная усталость.

От ее гнетущего, затяжного синдрома не спасало ничто. Ничто, кроме памяти.

Память...

Вещь в себе.

От всего можно откреститься, но только не от памяти.

Оперируя познанным, память проводит параллели, и проводит их помимо твоей воли.

...Мы стояли на Чермале.

Чермал – один из бесчисленного числа притоков и рукавов

Амура.

Амур – вторая после Волги великая река, с которой я хорошо знаком.

Чермал – небольшая горная речка с быстрым течением, но, в отличие от Амура, с его огромным водостоком и тяжелой, черной водой, на Чермале, как и на моей протоке, вода чистая и прозрачная, только холодная.

Середина сентября.

Мы проснулись от грохота.

Грохот рушил небо и землю: он перемешивал их.

И, нарастающий, шел по Чермалу снизу вверх.

Шел, надвигаясь сплошной стеной.

Был тягучим, долгим.

Тот грохот пробудил во мне первородный, почти животный, но забытый, страх.

Потом все прояснилось: вверх по притокам и рукавам Амура шла горбуша.

Шла из океана.

Шла, чтобы дать жизнь новому потомству.

От мириадов белых бурунов темная ночная вода стала непрерывной светлой линией.

Я впервые увидел такое яростное проявление сути составных объективной реальности.

Вниз текла вода.

Вверх – против течения – живая плоть.

Понтонный мост, сооруженный нами для переправы сельхозтехники, ходил ходуном.

Я видел, как идет на нерест рыба в дельте Волги.

Видел, как светлеет нутро воды от блеска чешуи великого множества рыбы, но такого яростного потока бессчетной массы живой плоти не видел, и впервые ощутил океанскую мощь созидательной энергии живой природы.

...Нечто подобное я увидел позже на главных улицах и площадях Москвы.

То была амёбообразно-студенистая, многолюдно-черная, безликая толпа.

Ее – толпу – кто-то хорошо организовал.

Организовав, двинул на сокрушение институтов существующей тогда власти.

Именно амёбообразная студенистость безликости толпы разбудила тот самый, первородный, но, видимо, хорошо забытый – почти животный – страх и на протяжении длительного времени тягучая, обволакивающая сознание липкая студенистость толпы 90-х вползала в мои предутренние сны, фокусируя взгляд на заурядной типичности глашатаев новых горизонтов, которые привнесли в мою жизнь ощущения не только внутреннего, но и внешнего неуюта.

Те, кто с помощью толпы пришел во власть, отменили очень важный рефлексивный акт-символ; те, кто пришел во власть, отменили долгий, протяжный, отдающийся во вре-

мени и пространстве, многоголосый, троекратный, волнообразный перекал «ура...» на Красной площади.

Отменив акт-символ, они лишили многих энергии страны-победительницы.

...Два раза в год та, отнятая у меня, – великая страна – показывала себя миру.

Она показывала всего ничего: красоту и выучку парадного строя своего воинства.

Но тем самым великая страна говорила: со мной считаются и будут считаться.

Но тем самым великая страна утверждала: сфера моего влияния уходит далеко.

Выходит за пределы державного города и огромной страны.

Соприкасается с миром.

И Красная площадь становилась местом, видным со всех сторон, и долго хранила протяжный, отдающийся во времени и пространстве, многоголосый, троекратный, волнообразный перекал: «У – у – р – р – р – а – а – а – а – а!...»

Моя новая страна перестала показывать себя миру.

Перестав показывать себя миру, моя новая страна стала безмолвно-инертной.

И я понял: исход естества красоты порождает апатию.

...Неподалеку от вестибюлей многих станций метро долгое время стояли шеренги людей.

Они поражали безмолвностью.

За людей говорили таблички на груди.

На картонных или бумажных квадратиках или прямоугольниках надписи:

«Жестяные работы».

«Плиточные работы».

«Сантехника».

«Электрика».

«Циклевка полов»...

И если в свое время у меня в степи перед глазами возник монах с гравюры учебника истории средних веков, то теперь представал рисунок продажи рабов из учебника истории древнего мира: у несчастных, чья жизнь мало чего стоила, тоже были таблички на груди, но если средневековый монах, дойдя до края земли, пробивал головой небесную полусферу и тем самым выходил за пределы познаваемого, то люди у вестибюлей метро говорили о возврате к пройденному, – возврате, сходном с одним из самых мрачных периодов в истории страны и мира.

Но та, отнятая у меня, великая страна не умирала.

Запас ее прочности оказался рассчитан надолго.

Ее – великой страны – уже не было, но она, как ни странно, продолжала жить.

И – даже действовать.

Граждане России пользовались общегражданскими и заграничными паспортами разрушенного государства, более того, свыше десяти лет паспорта несуществующей страны выдавали десяткам тысяч молодых людей, достигших совершеннолетия; да, введены и действуют паспорта нового образца, но десятки миллионов выданных той, – разрушенной страной, – свидетельств о рождении (титульные и внутренние листы многих из них написаны на двух, а то и на трех языках) будут жить со своими владельцами многие десятки лет, по самым скромным подсчетам, – больше века.

Одна из расхваленных разработок военно-промышленного комплекса США самолет-невидимка F-117A, по американской военной терминологии называемый «Черный ястреб», что само по себе выдает скрытый оттенок агрессии, во время войны НАТО с остатками Югославии – Сербией в марте 1999 года, был сбит зенитной ракетной установкой советского производства ...семидесятих(!) годов.

Великая страна говорила о себе через время.
Говорила, став уже исторической категорией.

В чем сила сильных?..

Сильные, если и грозят, – то только пальцем.

Почему?

Потому.

Сильные защищают себя на дальних подступах.

Письмо седьмое **ПОБЕДИТЕЛЬ**

...Звонок звенел и звенел.

– Слушаю вас.

Я ответил хриплым от сна голосом, и автоматически глянул на часы – 06:00.

Так рано нам не звонили.

– Это я...

На другом конце линии связи брат искал и не находил нужных слов.

Я понял все и сразу.

– Знаешь...

Брат, не решаясь сказать о главном, откашливался и откашливался.

– Отец оставил нас.

Он нашел слова, которые искал, но произнес их бесцветным, тусклым голосом.

– Похороны завтра. Мы ждем тебя. Успеешь?..

Брат говорил телеграфно.

– Когда это случилось? – только и спросил я.

– Полчаса назад.

Выразив желание близких, брат успевал попутно разъяснять что-то кому-то.

И я понял: нас ждет большая работа.

...Мулла сел у изголовья отца.

– Кто уходит?

Его обращение было адресовано товарищам, друзьям и сверстникам отца.

– Нажен уходит, Нажен.

Хором ответили товарищи, друзья и сверстники.

...По мусульманскому обычаю друзья, товарищи и сверстники проводят с усопшим его последнюю ночь на земле.

Та ночь – не просто ночь.

По-казахски она называется «күзет» и означает «караул», «охрана».

В ту ночь в доме и на дворе покойного не гаснет свет.

Избранный круг людей – друзья, товарищи и сверстники до утренней зари вспоминают особенные для них эпизоды, когда они, люди одного с покойным поколения, постигли того в пике проявления им высших степеней качеств человека.

– Стало быть, нас оставляет Нажен?.. Знаем...

Высказывание мулла закончил глаголом действия множественного числа.

И подытожил:

– Мужчина был, и – хороший человек.

– Верно, верно!

Дружно подтвердили друзья, товарищи и сверстники отца.

Получив подтверждение своему заключению, мулла продолжил:

– В молодости покойного окружали свои и чужие дети, а в старости – свои и чужие внуки... Дети любят добрых людей, не так ли, старики?

– Так, так... Истинно так!

Ответил слаженный хор голосов.

– Приступим?..

Мулла обратился уже ко всем присутствующим.

Затем, будто отчитываясь, обернулся к отцу со словами:

– Все, кому надо, пришли. Мы, Нэке*, прощаемся с тобой.

И стал творить молитву.

Проводы покойного на моей станции и всей округе, несмотря на многолюдье, приобретают все оттенки камерно-

го действия: помимо родных и близких обязательно приходят соседи и знакомые с взрослыми или находящимися на стадии взросления сыновьями.

Но раньше всех у изголовья почившего собираются друзья, товарищи, сверстники.

И горечь потери семья усопшего разделяет сначала со старшим поколением общины.

Оно – старшее поколение – хорошо знает цену утрат.

Им – старшим – принадлежит доминирующая роль.

На них держится весь протокол и сценарий проводов.

Они же, старики, совершают омовение.

Я не заметил, как расселись люди.

Деликатно и ненавязчиво меня, братьев и сестру отводили и отводили от тела отца. Впереди, заслонив нас, несколькими шеренгами коленопреклоненно присели все, кто пришел проститься; я не обратил внимания, кто это был, но кто-то из знакомых почтенного возраста, отводя в сторону, полупшепотом объяснил: нас отводят от отца, чтобы он в тоске ли, в печали от одиночества или из-за какой-либо обиды не забрал с собой кого-то из близких.

Но уход отца забрал еще одну, и очень заметную, частицу моего «я».

Он, пусть далеко от меня, – но был на этом свете.

Он был и этого, – как оказалось, – было достаточно.

С его уходом я лишился, – теперь уже окончательно, – внешней защитной оболочки.

И лопатками ощутил за спиной пустоту.

Человек скромных достижений, мой отец был участником огромного действия.

Он был участником огромной – мировой – войны.

Войны, закрепленной в истории человечества.

Он и его поколение отстаивали право на жизнь той – моей – страны.

...Ночью, временами отвлекаясь от рассказов стариков, я вспомнил резанувшее слух, откровенно-горькое обобщение отца:

– Разве это народ, который купился за миску похлебки?
И...

Он в сердцах затоптал только что начатую папиросу.

– Подумать только! За миску похлебки и бесплатный проезд...

Употребив густо-соленое выражение, глубоко и разочарованно вздохнув, уточнил:

– Бесплатный проезд... Где бы ты думал?.. В городском транспорте! Неужели кто-то думает, что время не достигнет платы? В этой жизни бесплатным бывает только сыр в мышеловке.

И очень просто, но доступно обозначил роль загадочности

случая в истории.

...Высказал он свое признание после нашей небольшой пикировки.

Я только что приехал с семьей в отпуск.

В перерыве застолья, когда все вышли во двор, отец задал мне подряд два вопроса:

– Вы что там, в Москве, делаете? Понимаете ли, что!?

Его однозначное обобщение всех и вся было крайне неприятным.

И я, осаживая его, задал встречный вопрос:

– Ты думаешь, кто-то спросил у кого, что нужно делать?

Тогда, несколько отступив, он и выразил свою неприятную оценку.

...Речитатив муллы.

Незнакомые арабские слова беспристрастно произносились нараспев.

И я понял: молитва – особый, ритмизированный строй речи и представляет собой давно рожденную, протяжную, горловую песню.

Ее, особым образом организованный звукоряд, обращен к иным сферам.

Посредством молитвы человек спокойно, но осторожно и тихо стучится в небеса.

Стучится затем, чтобы там – в иных сферах – узнали имя его соплеменника.

Стучится затем, чтобы там – в иных сферах – узнали и приняли его достойно отпетую в этой жизни душу.

«Человек – существо символическое, но высота небес, – думал я, – символичнее и выше многих земных символов».

– Да будет достигнутое место ясным!

Произнес мулла, завершив молитву.

– Да будет так!

Откликнулись старики.

...С выносом тела отца я понял: он уходит не один.

С ним уходит и его – особое – поколение.

Уходит поколение победителей.

Уходит поколение-символ, а символы нового времени еще неряшливы: они только-только начинают причесываться людьми и временем.

Но отец и в новом облике оставался отцом.

И, даже уходя из этого мира, продолжал показывать мне жизнь.

Как показал когда-то место слияния вод великой реки и огромного внутреннего моря.

Как превратил когда-то в праздник обыкновенное дело – растопку самовара.

Как изумил когда-то неожиданным подарком.

...То был приличный сверток.

Я вспотел, пока развернул около десятка газетных страниц.

Удивился обнаруженному там спичечному коробку.

Еще больше – кузнечику в нем.

Кузнечик совершенно очумел от вертуханий свертка.

Однако, хоть несколько секунд, но я подержал его на ладони.

И запомнил, как он улетел.

...Чувствительный толчок розоватых, в темно-красные крапинки, бедер.

Взблеск крылышек.

И – нет кузнечика.

И теперь понимаю: лучшего подарка в жизни у меня и не было.

Но на этот раз отец выводил более скрытую – глубинную – линию жизни.

Проститься с ним приехали люди из четырех сел.

Пусть не всех, но многих я хорошо знал.

Люди откровенно признавались: живут непросто, если точнее – трудно.

Многие потеряли работу, а вместе с ней – деньги.

Обеспечивали семьи сезонными подработками да подворьем.

Но именно они, – люди непростой, трудной жизни – и стали в коленопреклоненные шеренги, отгородив детей покойного от явления смерти.

Это они – коленопреклоненные люди – заставили меня заплакать.

Впервые за время похорон.

Это был не тот народ, о котором горько высказался отец.

Это был другой народ.

Народ, который проявлял себя, подлинного, когда это было нужно.

И я пожалел, что не знаю ни одной молитвы почтения людей.

...Распахнутые настежь ворота.

За их створом процессию встретила вторая половина обитателей станции.

За воротами – в скорбном молчании – русские.

Многие пришли семьями, а старики и старухи привели с собой внуков и внучек.

Совместное проживание этносов вырабатывает свои, – неписанные, – законы.

Станция, где сошлись крыльями огромный и немалый народы, – не исключение.

Усопшего здесь провожают всем миром.

Но до выноса тела соблюдается дистанция.

Дистанция отдает дань уважения тонкой материи иного обряда.

Впереди всех – Татьяна Фоминична Трофименко.

Жила она рядышком, через два дома.

Отец, мать и Татьяна Фоминична проработали вместе почти тридцать лет.

И связывали их не просто дружеские, а особо дружеские отношения.

Бывая в отпусках, я заходил к ней поздороваться, справиться о житье-бытье.

Мы обнялись.

– Опустело место отца...

Татьяна Фоминична, показав взглядом на стульчик и верстачок у стены сарая, полуудивленно произнесла:

– Полчаса смотрю на них. Правду люди говорят: без хозяина и вещи сиротеют.

Выяснив, когда я приехал, она, озадаченно покачивая головой, призналась:

– Позавчера с ним говорила. Сидел, пилил свои чурочки...

И, продолжая покачивать головой, задумчиво произнесла:

– Видать, что-то чувствовал. Знаешь, что сказал? Говорит: «Фоминишна, если окажусь на бугре, первый привет пе-

редам твоему Саше».

...Православное и мусульманское кладбища – в трех километрах от станции.

Оба – на внутренних склонах двух, почти слившиеся у оснований, – бугров.

Хребты их, расходясь под небольшим углом, уходят на восток.

И образуют несвойственное для этих мест начертание ... латинской буквы v.

У самого разветвления бугров – с уходом на внутреннюю сторону их хребтов – два кладбища.

Два кладбища...

Православное и мусульманское.

Одно – в крестах.

Другое – в полумесяцах.

Крест и полумесяц...

Высшие сакральные символы европейско-азиатского культурного круга.

Рядом друг с другом.

Рядом...

Как когда-то рядом жили, дружили, ссорились, но и ми-

рились их обитатели.

И – будто две вертикали отходят от лика земли.

И – будто две линии прямой связи.

Как знать, может, с иными горизонтами жизни?

Невольно упомянув сына, Татьяна Фоминична заплакала.

Ее единственный сын Александр скончался пять лет назад от лейкемии, и, некогда рослая, полная, красивая даже для своего возраста женщина сильно сдала и, похудев, обесцветилась.

– Пусть земля будет пухом. Мой привет до Сашеньки дойдет!

Татьяна Фоминична перекрестилась и, молитвенно прижав сложенные вместе по мусульмански кисти рук к груди, отдала отцу земной поклон.

Вечером мы сидели с матерью на лавочке.

Братья развозили уже последних, задержавшихся, стариков.

– Все ушли.

Мать выразила конец завершившегося действия на русском языке.

Вздыхнув, обозначила состояние, которое воцарилось надолго, на казахском:

– Тыңштық...*

* *Тыңштық – тишина (казах.).*

И беззвучно заплакала.

– Ты уедешь. У тебя – семья.

Мать взглянула на меня.

В глазах – немой укор.

Тот самый, что стоял при расставаниях в конце моих отпусков в глазах отца: он так хотел, чтобы я вернулся домой.

– Поезжай, мы исполнили все, как надо.

Мать снова заплакала.

– Сынок, – она глубоко вздохнула, – одна я осталась. Почти все близкие по крови покинули меня, а кто жив, не доедут. Дорога из Алма-Аты сколько стоит?.. Сам знаешь. Твой отец – мой последний родной.

«Она и не думала расставаться с отцом», – подумал я.

И, ревниво чувствуя, что мать отдаляется от меня, братьев и сестры, ответил:

– У тебя есть мы.

– Вы – не мои.

Мать употребила личное и притяжательное местоимения

множественного числа.

Развела их паузой и частицей отрицания.

Произнесла сказанное убийственно-спокойно.

У меня между лопаток просквозил холод.

Видимо, она многое передумала, прежде чем так сказать.

– Вы – не мои.

Мать снова вздохнула и уточнила:

– Вы были моими, а теперь – не мои. У вас – свои семьи.

И снова заплакала.

Утерев слезы, тихим голосом обозначила свою, – последнюю, – роль:

– Я, сынок, теперь – одинокая волчица. Мой удел – выть у могилы своего мужчины. Никто не утрет мои слезы. Даже вы, мои дети, не сможете. Когда умру, не будет у меня места рядом с мужем.

Она, укоризненно-озадаченно покачав головой, бесстрастно констатировала:

– Наши кладбища теперь заполняются быстро.

Внимательно посмотрев на меня, захотела в чем-то убедить:

– Как ты думаешь?..

Она смотрела, чуть прищуриив глаза, как бы определяя

дальнюю, – известную только ей одной, – цель, и приоткрыла сокровенное:

– Как ты думаешь, можно ли нарушить обычай?..

– Какой? – спросил я, чувствуя что-то непостижимое.

Мать пояснила:

– Я хочу, чтобы вы, мои дети, положили мои кости вместе с отцовскими. Русские, по-моему, хорошо поступают. Некоторые русские семьи...

Пытаясь точнее выразить сокровенное, она то и дело переходила с казахского на русский, выстраивая суть выверенно-точным синтезом слов двух языков:

– У русских семей есть чему поучиться. Они соединяют кости близких одной могилой. Я не знаю, хорошо это или не очень, может быть, и не очень...

Она задумалась, после чего продолжила:

– Получается, будто кости сваливают в одну яму. Но кладбище и могила – не яма. Кладбище и могила – последнее пристанище человека. Они освящены молитвой. Я думаю...

И снова заплакала.

Успокоившись, закончила:

– Думаю, отец принял бы меня. Он бы не обиделся, и чуток подвинулся, если лягу рядом. Костям не нужно много места: я ведь обниму его.

И, снова вздохнув, поправилась и уточнила:

– Не его обниму... Не его, сынок. Его кости обниму, его кости...

Я удивился: уход отца не оставил мать без надежды.

Более того, она видела возможность качественно иного слияния с ним.

Ее мысли, видимо, не раз посещали непознанные мною сферы.

Но ставила она такую задачу, к решению которой я пока не готов.

Мать снова задумалась.

Прервала молчание вопросом:

– Знаешь, как отец хотел дожить до юбилея Победы?...
Братья говорили?

Я кивнул, но было очевидно: она скажет то, чего не говорил никто.

И она сказала:

– Он умолял Создателя дать ему увидеть парад Победы.
Так упрашивал Его!..

И, вся выпрямившись, гордо произнесла:

– И увидел, увидел!..

Загибая пальцы, тихо, порой переходя на шепот, стала считать:

– Девяносто шестой, девяносто седьмой, девяносто восьмой, девяносто девятый... Четыре года. На четыре года пережил свое ожидание мой победитель. На четыре... До этого четыре года ждал свой парад. Ждал, ждал, ждал и – дождался. Четыре и четыре – восемь. Не зря как-то сказал: «Я, мать, был участником одной войны, и еще две пережил, но из этой жизни уйду победителем».

Переведя дыхание, тихо-тихо прошептала:

– Увидел отец свои святые знамена на святой площади, увидел... Выплакал свои слезы счастья, заплакал... Как же мало нужно человеку! Всего-то ничего – только бы его не обманывали.

– Сынок!

Мать смотрела очень внимательно, не зная, говорить или нет.

И призналась:

– Я не видела слез своего мужа, ни разочка не видела, и вот – довелось.

Обмакнув скомканным носовым платком глаза, снова призналась:

– Смотрит парад и – плачет. Не в голос, как мы, бабы, а тихо-тихо, будто стесняется, а слезы-то по щекам текут. Я тогда кое-что поняла...

Мать надолго умолкла.

После чего совсем тихо прошептала:

– Страшно, когда плачет мужчина. Так страшно, сынок...

Глубоко вздохнув, продолжила:

– Если плачет мужчина, значит, человеку не помочь. Ничем. И я сама заплакала.

– Получается, хоть чем-то, но помогла, – то ли возразил, то ли поддержал ее я.

– Какая это помощь!?!..

Вопрос с восклицанием загнал меня в тупик, а вывод поставил в угол:

– Выстраданная радость – скорее горе. Радость, сынок, даруется вовремя.

И окончательно удалилась от меня.

Чуть грустно улыбаясь, ушла в себя.

То, что сказала после, было ее обращением к своим, внутренним, мыслям:

– Чтобы добиться меня, он однажды выкрасил и завил волосы. Такой смешной был!..

Безвольно уронив на колени руки, мать стала совершенно бессильной и одинокой.

И я понял: отец принадлежал ей больше, чем мне.

Мы входили в дом, когда мать, устало поправляя выбившиеся из-под головного платка волосы, с неожиданной хитринкой глянув на меня, озадачила:

– Ты обещал купить мне красное платье, где оно?..

Создатель!

Мать помнила мое давнее – еще детское(!) – обещание.

Я дарил ей много чего, а про красное платье забыл.

Неужели память – вид энергии?

Не потому ли позывы, адресованные одной душой другой душе, говорят через время?

Не дав опомниться, без всякой связи с предыдущим, мать вдруг констатировала:

– Мы будем голодать. Видел, в магазине ничего нет, а если есть, у нас денег нет.

...Больше всего на свете мать боялась голода.

За свою жизнь она трижды переживала его.

Первый раз, малым ребенком, в голодомор 1930 – 1931 годов.

Второй раз – в годы великой войны, задевшей не только страны, но и континенты.

В третий раз голод коснулся крылом и ее, и меня.

То были тяжелые 1963 – 1964 годы.

Тогда на юге страны два года подряд выдался неурожай.

Однако то был все-таки не голод, а нехватка отдельных видов продуктов питания.

Но нехватка есть нехватка, и я два года не знал, что такое белый хлеб, и, когда на станцию привозили из Астрахани, как говорили, испеченные из перемолотой вермишели белые булочки, в них, действительно, порой встречались непропеченные белые стерженьки, то было пределом мечтаний.

...Слова матери о голоде вызвали ощущение давней, знакомой тревоги.

Все дни похорон я бессознательно считал составы.

За весь летний(!) день через станцию проходило... три состава.

Два нефтеналивных и один – уныло-куцый – товарный.

Шли они преимущественно с юга на север.

Да, свято место пусто не бывает: сейчас растет грузооборот автомобильных перевозок.

Но он несопоставим с железнодорожным.

Ни по объему, ни по номенклатуре товаров.

Несмотря на хлопоты, мне удалось выбраться на станцию.

Над всеми пятью, белыми от солнца, ветками путей витал один запах.

То был запах запустения и пыли.

Между колеями путей и рельсами каждой колеи росла высокая трава.

А я знал и помнил: ни между теми, ни между другими не росла трава.

А я знал и помнил: грузовые составы шли в двух направлениях.

С севера на юг.

С юга на север.

По самым скромным подсчетам – от восьми до десяти товарных состава в час.

Письмо восьмое

ОСКОМИНА

...Несколько дней спустя после похорон меня разбудил ранний, возможно, случайный, телефонный звонок.

Не успев поднять трубку, я встал.

– Что так рано?

Жена привычно выпростала из-под одеяла руку.

Нашла мою ладонь.

Угнездилась на ней щекой, возвращаясь в прерванный сон, улыбнулась и попросила:

– Посиди, пожалуйста, рядышком... Мне хорошо с тобой.

...Я забыл свою девочку с протоки.

Врачи посоветовали отцу, фронтовику-окопнику, сменить климат.

И наша семья переехала из дельты Волги в степь.

Но, повзрослев и навещая родственников, я все же побывал на протоке детства.

На ее месте раскинулись квадраты рисовых чеков.

Они появились спустя год-другой после тяжелых 1963 – 1964 годов и заметно разрешили продовольственную проблему, но стерли с лица земли точку моего соприкосновения с лучистой энергией солнца.

И я снова испытал ощущение знакомой, неясной по своей природе, но, – существующей на свете, – тревоги.

Время задевает все.

Время задевает всех.

– Папа, присядь!

Слова жены прервали ход мыслей.

Перехваченный нежностью, я поцеловал ее в по-детски пухлую щеку.

...Она пришла, когда мне сразу и вдруг не стало хватать покоя.

Непокой...

Он был странным.

Он был удивительным.

Он доставлял мучение.

Он лишал прежних радостей.

Путал мысли.

Тревожил сны.

А главное – непокой тот таил в себе знакомый отзвук неясной по своей природе, но, – существующей на свете, – тревоги.

К тому времени я познал и девушек и женщин, но хотел, чтобы рядом была та, – повзрослевшая, – моя девочка с протоки.

И желание то было мучительным.

...Мы долго шли навстречу друг другу, может быть, слишком долго.

Когда поняли, что путь затянулся, решили не расставаться.

Моя спутница и стала причиной той, – непознанной до конца, – тревоги.

Ее – тревогу – мы познали вместе.

Познали, увидев возможность потери.

Но, как ни странно, возможность потери и дала полноту приобретенного.

Ценности стоят того, чтобы тревожиться за них.

И я снова поцеловал жену.

...Ольга одно время исследовала специфику семейного образования и я помню ее ужас: этим делом занимались люди, не готовые нести груз очень специфической, но в целом

государственной, ответственности. По ее признанию, двенадцатилетний подросток не умеет ни писать, ни читать, ни считать, и где – в Москве(!), и если бы он был один! Преподаватели – кто угодно, только не педагоги по специальности; одного высшего образования для школы мало: настоящий педагог владеет специальными приемами и знаниями не только по обучению, но и научению. Тот двенадцатилетний подросток признался: всех, кто ему неприятен, он бы убивал; на вопрос, чьи фильмы он смотрит, не смог назвать ни производителей кинопродукции, ни имен сценаристов, режиссеров или хотя бы актеров, но ответил: герои его фильмов решают все проблемы с помощью пистолета.

...Конфликт был, есть и, видимо, будет главной составной не только общественных отношений, но и движущей основой саморазвивающейся личности, вступающей в жесточайшие противоречия со своими убеждениями и верованиями; на исходе уходящего века конфликты в моей стране усложнились, – наряду с их извечными открытыми и скрытыми формами появилась совершенно самостоятельная – откровенно-наглая разновидность; ее проявлением стала гибель людей даже из властных структур – гибель тех, кто оказывал влияние на становление правовых отношений в сфере экономики.

И приходится с грустью констатировать: возможно, будущие столкновения ходят рядом.

От них не отгородиться заборами.

Не спрятаться за железными или стальными дверями.

Не укрыться за металлическими решетками или жалюзи на окнах.

Отгораживание от внешнего мира металлом стало знакомым выражением времени.

Сначала оно характеризовало боязнь жестокостей реальности.

Затем трансформировалось в начало отчуждения людей друг от друга.

И я испытал новое, доселе не знакомое ощущение, – горечь оскомины.

– Папа...

Я обернулся.

Ольга смотрела как никогда до этого, – с чувством глубоко затаенного страха.

– Что будет, если одичают люди?

– Плохо будет, плохо, и – даже очень...

Я кивнул на то, что осталось от котенка – обслюнявленную, с неприятно торчащими, слипшимися комочками шерсти, разодранную зубами эрдертерьера голову котенка с вытекающим правым глазом.

Письмо девятое

ТИШИНА

И теперь думаю: сколько пройдено за последние годы?..

Последние два десятка лет моей жизни – эпоха.

Я увидел собачий оскал национализма конца 80-х, начала 90-х годов XX века.

Познакомился с ксенофобией.

Потерял страну, в которой родился.

И, если смотреть в перспективу, проблематично, чтобы малый, средний и крупный бизнесы образовали непротиворечивый уклад; окажется ли их становление несовместимым с произволом и неожиданностью поведения людей, ориентированных только на себя и свой успех?.. К тому же еще не сложились социальные институты государства, способные выработать механизмы принадлежности к стране, способные воспитать иной социально-психологический тип человека; если это и случится – то не скоро, и все вспоминаю тихий, несколько приглушенный большим объемом поточной аудитории голос профессора кафедры литературы и литературной критики своего факультета Галины Андреевны Белой: «Мы живем в удивительной стране, у которой никак не срастутся корни и крона», позже у Хосе Ортега-и-Гассета прочитаю: «Какой видит себя наша эпоха? ... Может быть так: она выше любой другой и ниже самой себя» и задохнусь от пронизательности великого испанца.

Да, движение – жизнь.

Это аксиома и не требует доказательств.

Но движение без цели и смысла – путь во мраке.

Движение без цели и смысла убивает щемящее чувство радости быть в дороге.

Психологи утверждают: каждый ребенок считает самой красивой женщиной свою мать, самым сильным мужчиной своего отца, а самой счастливой страной ту, в которой он родился и живет.

Но так считает ребенок, как правило, надежно прикрытый родителями.

В отличие от ребенка, взрослый человек имеет возможность сравнивать.

И считает несколько иначе.

Взрослому человеку мало удовлетворения одних физиологических потребностей.

Он хочет удовлетворения потребности в безопасности своей страны в целом.

Он хочет удовлетворения потребности в безопасности своей семьи и близких.

И в то же время не хочет жить ни за железными дверями, ни за решетками на окнах.

Взрослый человек живет в обществе и не может быть независимым от него.

Жить в обществе и быть независимым от него – наивно.

Зрелая личность – не только опосредованный деятель.

Зрелая личность – системообразующий элемент общества, а государство – стул, на котором сидит каждый гражданин.

Все это так, но отсутствие ясных, теоретически обоснованных, а не иллюзорных контуров будущего делают нестабильной и некомфортной жизнь любого взрослого человека, а отсюда – труднореализуемыми потребности в развитии способностей многих членов общества. После шоковой терапии начала девяностых не выработано ни одной крупной – цивилизационно(!) привлекательной – идеи для восстановления внутреннего равновесия граждан, а страна моя изрядно задержалась на станции под названием «Переходный период».

Моя новая страна не есть первооснова по крайней мере для двух старших поколений.

Сможет ли она оправдать для них значение понятия «Родина»?

И оправдывает ли, выдавая им документы о гражданстве?

Так где и в чем теперь искать веру?..

В жестокой и одновременно горькой, а зачастую – извращенной – правде о прошлом?..

Но едва ли настоящее лучше того же прошлого.

В стране, где миллионы людей были выше денег, деньги взяли верх над миллионами.

Взяли настолько, что породили невиданный вид услуг –

услуги на убийство.

И находились не только заказчики, но и исполнители.

И, если исполнителей правоохранительные органы порой находили, то заказчиков чаще всего найти не могли.

Так или иначе проблема ценностей вставала во весь рост. Впрочем, проблема ценностей не теряла актуальности никогда.

Только, оказывается, иногда могут долго оспариваться самые непреходящие из них.

Даже те, что не подвержены коррозии временем.

И, поначалу уступая трудностям, но не желая покоряться жестокости, человек, похоже, склонит голову только перед гармоничностью красоты отношений гражданина и государства.

Это, считаете, слишком умозрительно?

А что, собственно говоря, – не умозрительно!?!..

То то и оно!

Но человек, даже потеряв, будет искать и находить ценности.

Он будет искать ценности, порою ослепнув от горя и тоски.

Будет искать ценности, пребывая в состоянии почти расщепленного сознания.

Будет искать ценности без чьей-либо подсказки или помощи.

Но главной ценностью у него вновь и вновь будет Родина.
Вновь и вновь будет удовлетворение чувства принадлежности к ней.

Вновь и вновь будет актуальна неповрежденность лучших чувств человека.

И – незамутненность сознания от искажений реальности.
Человеку хочется не только любить свою Родину, но и гордиться ею.

Гордиться сильной страной, стабильным государством.
Стабильность, если предвидеть опасности регресса, – первооснова продуктивного развития общества.

Родина моя!

Где ты?..

Тишина...

Что же делать?..

Набраться мужества и терпения и попробовать увидеть за деревьями лес.

Так, что это мне принесли?

Диаграмму ИТАР-ТАСС?

Что там?..

Свыше тысячи шестисот человек, как и я, в шкале ценностей вровень с благополучием своих семей видят благополучие и процветание своей Родины.

Затем – соблюдение законности.

За ними – порядка.

И только после них – свое хорошее здоровье.

Значит, как и я, многие люди считают Родину первичной оболочкой своего существования, своей самоидентификации.

И Родина – главная ценность для людей: она вровень с благополучием каждого.

Родина – выше законов.

Выше порядка.

И – даже здоровья.

Неизвестные мне люди сделали хорошую, классную работу.

Не имеет значения: был то политический заказ или независимое исследование.

Важнее то, что люди все активнее врачуют и причесывают себя и свое время.

В номер эту диаграмму!

Может, кто-то хочет укрепиться верой и надеждой?

А поводов для укрепления надежды – более чем достаточно.

У руля государства – третье поколение высших управленцев.

Это немногословные и, хочется верить, ответственные и сильные духом мужчины.

Они мало говорят.

Знают, видимо, больше, чем говорят.

Но удастся ли разогнуть им «загогулину» предшественни-

ков?..

Процесс разгибания, скорее всего, вопрос времени.

А пока можно и порадоваться.

Где те мальчишки, что год назад выпрашивали у меня де-нежку у газетного киоска?

Их судьбу, видимо, уже определили структуры местной, муниципальной, власти.

К тому же все очевиднее эффективность действий исполнительных органов федеральной власти: ее институты способны не только своевременно, но и адекватно отвечать оперативным вызовам времени и обществу, а верховная власть, скорее всего, приступила к разработке стратегических замыслов, рассчитанных на восстановление утраченного внутреннего равновесия многих и многих граждан.

Переменчивая жизнь изменила многое?..

Да, это так.

Но даже она, переменчивая жизнь, пасует перед неизменными данностями.

Во все времена любовь остается любовью.

Верность – верностью.

Дружба – дружбой.

Нежность – нежностью.

Радости – радостями.

Горе – горем.

Подлинные, внутренне присущие человеку начала начал, – неуничтожимы.

Над ними не властны перемены.

Над ними не властна даже смерть.

Перемены – всего лишь записи на полях неизменной природы человека.

Стыдно сказать: мой друг лежит в больнице, а я еще не навестил его.

Надо двигать к нему.

Может, найду утешение в нем?

А вдруг он нуждается во мне?

И – едва ли он поет песни.

Письмо десятое

ПЕСНЯ

– Здравствуй, дружище!

– Привет, дорогой!

– Как поживаешь?

– Если отвечать по-русски, прозвучит неприлично, а если по-японски – хе-ро-ва-то... Видишь, где оказался?

Друг обвел печальными глазами больничную палату и рассказал притчу.

...Шел через пустыню путник.

Нес с собой провианта, чтобы хватило на весь путь в десять дней.

На пятый день встретил умирающего от жажды человека.

– Помоги! Мне нужен всего глоток воды, – обратился к путнику умирающий.

– Не могу: все рассчитано на одного, – ответил путник, – а ты до цели, увы, дошел.

И – ушел.

И – ни разу не обернулся.

Через два часа встретился путнику оазис.

Журчала вода.

Пели птицы.

Укрывала всех от палящего солнца благодатная тень деревьев, и были веселы люди.

И устыдился путник: надо было помочь умирающему.

Вернулся.

Поздно...

И понял тогда путник: он не сделал того, что мог сделать.

– Наверное, все нужно делать вовремя, – подвел черту своей притче друг.

То, что сказал после, удивило:

– За других не ручаюсь, но мы с тобой живем, похоже, остаточным дыханием.

И уже не сказал, а скорее выдохнул:

– Когда же мы найдем свой оазис!

И как-то незнакомо-жестко посмотрев на меня, то ли спросил, то ли ответил:

– Человек неисчерпаем, не так ли? Только кто бы подсказал, где взять мужество?.. Я, грешный, думаю, болезнь моя – следствие очень опасного сочетания правды и неправды наших дней: одно неотличимо от другого, таково, увы, реальность.

Тряхнув головой, как бы отбрасывая докучливые мысли, спросил:

– Как это у Александра Кушнера: «Времена не выбирают, в них живут и умирают»? Скажи, – его горячая кисть касается моей, – не много ли мы потеряли?

Смотрел друг очень внимательно, думая, говорить или нет, и признался:

– Я иногда чувствую себя эмигрантом в своей же стране!

От неожиданности я перестал выставлять на тумбочку принесенные продукты и удивился: человек, который не ведал что с ним будет завтра, страдал не столько от болезни, сколько оттого, что, будучи в своей стране, вынужден представлять себя за ее пределами.

И скорее спросил, чем ответил:

– Эмигрант в своей стране?!.. Это, мой золотой, что-то новое. Хотя, что в этом мире ново?.. Только, скажи-ка мне, куда ты денешься от себя?.. В Дойчланд, чтобы тосковать о фатерлянде? В Америку, чтобы голосить о своей Жмеринке?

И, попав в русло продуманной до меня мысли, добавил:

– Нам с тобой биографию ломали?.. Ломали. Уродами или идиотами не стали?.. Не стали и, думаю, не станем. Мы с тобой уже не большие мальчики, а сердитые мужчины и можем сами нарисовать оазис. Представь: солнце – бриллиант, а звезды – алмазы над головой. Что такому оазису достоинства многих царств мира? То-то и оно... Не дрейфь, куда мы не денемся... Как это ты сказал: «Живем остаточным дыханием?..» Насколько помню, остаточное дыхание – разница между вдохом и выдохом. Не есть ли та разница суть первородно вдохнутого в нас дыхания? Нам с тобой мало что нужно... Деньги – пыль, водка – дрянь, секс – дело мокрое – всегда кончается ванной, а главное – крышка гроба не имеет багажника...

И, неожиданно получив долгожданное облегчение, предложил:

– А давай споем. Нашу. Любимую...

– А давай, – откликнулся друг.

И мы тихо, в четверть тона, запели:

Черный ворон, черный ворон,

Что ты вьешься надо мной?

Ты добычи не дождешься,

Черный ворон, я не твой!

Что ты когти распускаешь

Над моею головой?

Иль добычу себе чаешь?

Черный ворон, я не твой!

Палата слушала, затаив дыхание.

– Спасибо, что пришел.

Друг с благодарностью посмотрел на меня, и снова признался:

– Диагноз плохой. Компьютерная томография показала: позвоночный диск сместился в позвоночный канал. Я висел на волоске: мог запросто стать обездвиженным, но Создатель, видимо, милостив: подсказал через одного человека об этой клинике. Мою операцию тут поставили на поток. Все, что останется – шрам на позвоночнике длиной от силы в десять сантиметров, но, знаешь, страшно... Завтра утром...

И, недоговорив, сказал о том, что волновало больше:

– На всякий случай, если мои вдруг позвонят, чтобы звука не проронил, понял!? Я ориентировал их на день позже. Хорошая собака своей смерти не кажет, не так ли?.. Вот и я

сначала о плохом подумал. Представляешь, послезавтра жена и дочь приходят, а я – как новенький!

И попытался изобразить улыбку, но вышла смятая гримаса плохо скрытой боли.

Письмо одиннадцатое **ДВЕРЬ БЕЗ ДВЕРИ**

На другой день под утро меня разбудила мать.

– Вставай, отец пришел, – сказала она и стала разворачивать саван.

...Отец лежал весь белый от струпьев.

Похожие на мягкий, нежный пух, струпья не отталкивали и не пугали.

Тлен не коснулся отца, и исходил он не тяжелым запахом разложения, а непередаваемо-приятным, полузабытым ароматом; тем самым, от которого я, некогда обнимая своих детей-младенцев, млел и буквально растворялся в них и в исходящем от них чуть заправшем кисло-сладком аромате грудного материнского молока, и, снова вдыхая сохраненный в себе непреходящий запах начала жизни, как когда-то целовал детей, поцеловал отца, он, протирая глаза, присел и слегка сонным голосом произнес:

– Я, вроде, вздремнул немного...

Увидев свою наготу, смущенно улыбнулся.

Махнув рукой на то обстоятельство, начал с того, чего не знал никто:

– Видишь, как получилось...

Его улыбка стала виноватой:

– Проснуться успел, умыться успел, самовар поставить – не успел. Думал: посидим с матерью рядком, поговорим ладком, чайку утреннего отведаем, всех, кто на ум придет – вспомним... Это мать сказала: сыну нашему трудно, вот я и пришел. Иногда вовремя прийти – лучше, чем что-то вовремя сделать.

– Надо же!

Отец, кивнув на туфли моего старшего сына, искренне удивился:

– Валентинчик до сих пор ставит обувь как в детстве!

...Мой старший сын с малолетства ставил обувь носками в разные стороны.

Удивляла не столько обувь носками в разные стороны, сколько неувовимо-быстрая последовательность предшествующих действий; носком обуви левой ноги сын наступал на задник правой, коротким и легким движением правого бедра и голени вперед и вверх освобождал пятку и полуосвобождал до подъема ступню, затем, стоя только на носке левой ноги, заводил чуть выше левого голеностопа пра-

вую ступню, отводил ее насколько можно назад; обувь, что полувисела едва ли не на пальцах, касалась каблуком внешней стороны носка левой стопы, после чего, крутнув правой стопой налево, сын полуразворачивал обувь на ней и, сняв ее, разувал левую ногу и, тут же загребая стопой внутрь, доводил ее до полного разворота вперед задником, прижимая обувь с правой ноги к обуви левой; обувь менялась местами, – правая становилась как бы левой, а левая, не меняя ни места, ни направленности, становилась правой; любая повседневная обувная пара на глазах превращалась в параллель разнонаправленных векторов.

Глядя на обувь, отец кивал своей, – внутренне законченной, – мысли.

Вслух же высказался метафорично:

– Плоть плоти моего дыхания принадлежит сквозному потоку времени. Это хорошо...

И вернулся ко мне:

– Я, сын, – в другой дороге и скоро перестану приходить в твои сны, но в мыслях, извини, останусь. Запомни: сейчас – только трудно, но – не страшно...

И задумался.

Ему, видимо, хотелось сказать еще что-то, но, решив, что не стоит, по-хозяйски глянув на мать, почти скомандовал:

– Не задерживай: смерть и рождение не любят опазды-

вать!

Мать засуетилась, и стала торопливо заворачивать его в саван.

Слегка придавив, положила под последнюю складку на груди кусок хлеба.

Обращаясь больше к себе, чем ко мне, пояснила:

– Он ушел без крошки во рту, не испив даже утреннего чаю.

И, подняв глаза вверх, обратилась к небесам.

Обратилась, как делала это в последнее время, на синтезе слов двух языков:

– Создатель! Терпеливый и Вездесущий! Білмейм, барсын ба Сең, жоқ сын ба Сең. Білмейм, кім Сене бізге берде, Кім Сеңе біздең тартып алды*. Хранитель Всего и Вся, прими, пожалуйста, мою заботу о ближнем!

И ближний тут же заявил о себе.

После слов матери я поймал затылком взгляд.

Пристальный.

Внимательный.

Проникающий...

Не столько взгляд, сколько тонкая, – метафизическая, – линия.

Преломляясь в гипоталамусе, линия та оседала на краткий миг в гипофизе.

Преломляясь и там, отвесно, – выпрямляя всего, – уходила в позвоночный столб.

Я обернулся.

Волк.

Стоит близко и к чему-то готовится.

Внутри все похолодело и что-то оборвалось.

– Не надо бояться. Я – то, без чего ты – никто.

Спокойно произнес волк и оградил тоном от нехороших предчувствий.

Поясняя посылы, все также спокойно продолжил:

– Причина и следствие – явления неочевидные, если проще, – незримые. Их незримость и мешает человеку проявлять мужество. Мужество жить, не допуская в мысли плохое.

** Білмейм, барсың ба Сең, жоқ сын ба Сең. Білмейм, кім Сене бізге берде, кім Сеңе біздең тартып алды – Не знаю, есть ли Ты или нет. Не знаю, кто Тебя нам дал, кто Тебя у нас отнял (казах.).*

Очерчивая их, задался вопросами.

И, определяя существенные признаки плохого, сам же и ответил:

– Как не допустить в мысли плохое?.. Как приходиться к истинам не обязательно с побитым лицом, поврежденными чувствами или затаенной обидой?.. Как не терять облик человека?..

И, – делая все больше пауз, – обобщил:

– Видимо, следует чаще обращаться к смыслам... То есть – значениям понятий... Значения понятий... Разведенные во времени, нередко тоскующие друг по другу единицы мысли. Единственно действительные единицы... Только они умеют умножаться и говорить произвольно изменяемой суммой костей. Кости... Сухой остаток некоего значения. Последний, прощальный поцелуй тех, кто жил до нас и, думая о нас, перебрал и просеял значение многих и многих смыслов. Драма настоящего – в его неосознанном желании придать новизну тому, что, – за редкими исключениями, – уже совершенно и может только быть или не быть. Риск придать, скажем, хотя бы толику новизны смыслу справедливости чреват изменением значения самой справедливости как таковой... Если чаще обращаться к смыслам понятий, они бережно, как ребенка, возьмут тебя за руку и выведут линию единственности и всеобщности любой судьбы. Тогда и станет очевидной

преимущество линии непрерывной прерывности перед болезненно-частыми изломами жизни; тогда и станет очевидной красота непрерывности, как станет очевидным и стыд за острые, режущие в кровь, края болезненных изломов.

– Тайна Пути благодати для нас семечки?.. – сыренизировал я.

– Не ерничай, – поморщился волк.

То, что сказал после, выбило из-под ног почву.

Опустив глаза, волк ткнулся прохладным комочком носа в мое колено, и признался:

– Я, брат, ухожу.

Отвечая на немой вопрос, пояснил:

– Спасибо: я досмотрел свой сон. Ты же знаешь: мне надо спеть песню своей любви.

И, снимая все вопросы, обозначил бесповоротность решения:

– Пора. Труба зовет.

И ушел.

Ушел.

А дверь – не шелохнулась.

И произошло очень важное изменение.

Начало ему положил исход вязкой, тягучей, плотной и по-

стоянной усталости.

Но не было облегчения в убывании того – неприятно-долгого – ощущения.

Усталость сменялась не менее неприятной доминантой утраты.

Утрата смяла, задавила меня.

...Я видел в зеркале свое отражение с полуудивленным выражением ожидания готового, но пока неполученного ответа.

Ответ, несмотря на то, что был скрыт, одним своим наличием намекал – будущее теряет анонимность, становится все более и более узнаваемым, и предвосхищение именно узнаваемого одарило меня обретением устойчивой, спокойной и чуткой прохлады, когда вскрикнул, бреясь, от колко-острой, проникающей боли пореза.

И снова поймал затылком тот, – метафизический, – взгляд.

Обернулся.

Волк.

– Извини, сказав «ухожу», я не сказал «вернусь», – виновато произнес он.

Уловив непонимание, пояснил причину возвращения:

– Спел, кому надо, песню моей любви и – вернулся.

Видя, что снова не понят, произнес, едва скрывая раздражение:

– Я, голова два уха, вернулся, чтобы ты не потерял, а обрел себя.

И вошел в контекст суждений, высказанных перед уходом:

– Прощание – нелегкая работа: только прощаясь и понимаешь утрату радости. Еще больше понимаешь ее утраченность, возвращаясь к тому, от чего никак не уйти.

Чуть печально улыбаясь, бесстрастно заметил:

– А ты здорово порезался.

И, не меняя тона, констатировал:

– Не удивительно, не удивительно...

Вздохнув, все также ровно и спокойно продолжил:

– Жить в эпоху разрыхленности границ значения смысла основных понятий – жить, испытывая постоянную боль. Да, боль убедительный аргумент проявления жизни, но, если она – боль – становится неизменной и при том не пересматриваются подлинные причины ее зарождения, жизнь становится невыносимой. Впрочем, и это не удивительно. Удивительнее другое: чем невыносимее жизнь, тем больше стремится человек к постижению непростого, очень текучего, как он сам, смысла гармонии, или, если хочешь, – красоты; чем

невыносимее жизнь, тем больше трансформирует человек свою боль в ее же загадочную разновидность – тоску, но даже трансформация редко меняет сути боли, и она как была, так и остается не столько сильным, сколько опасным ощущением, направленным на избавление в первую очередь от ощущения самой боли, а не ее причин, что и приводит к отчаянию, мешая видеть ресурсы спасительного. Не огорчайся: очарованный прелестью тоски, избежав ее опасную близость с отчаянием, ты остался спокойным и чутким, и понял: гармония или красота не терпит поражения, никуда не уходит, не исчезает, а просто оставляет тех, кто ее недостоин и находит свою неистребимость в подлинной, а не мнимой чистоте чувств, помыслов и действий человека. Дыши глубже!..

И вернулся к своему коврику.

Вернулся.

Стал укладываться.

Укладывался он так основательно, будто навсегда.

Сначала несколько раз осторожно обнюхал в нескольких местах коврик.

Затем также осторожно несколько раз потрогал его в нескольких местах лапой.

Потом – встал на коврик.

И, – уже стоя на нем, – несколько раз крутнулся вокруг

себя на одном месте.

Наконец, некоторое время потоптался на том месте.

И только после того – лег.

Но, – даже лежа! – продолжал искать уютное положение.

И, то вытягивая, то поджимая лапы, елозил на боку, заново осваивая свое же место.

И нашел-таки важную, – изначально комфортную для себя, – точку.

Найдя ее, свернулся в комок и, уткнув нос в кончик хвоста, успокоился.

Достигнув уюта, беззлобно проворчал:

– Стоит уйти на миг, а твое место – остыло...

Я перестал уже чему-либо удивляться, но тут пришлось.

Вывернутая выходом пули левая лопатка волка срослась с телом, а маленькая круглая рана чуть выше глаз затянулась.

Письмо двенадцатое

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ЖИЗНИ

И заплескалось в маленькой комнате монотонно-ровное, бескрайнее море.

Раскинулась бескрайне-ровная, монотонно-однообразная степь.

Касались леса и горы звездного неба.

Светили солнце и луна в отведенное им время.

Маленькую комнату в картину мира превратил всего один человек.

И оказался вовсе не титаном.

На пороге – высокий, средних лет, хорошо сложенный, обнаженный мужчина.

Причинное место прикрыто фиговым листочком.

Но именно на его плечах и покоился свод небес.

– Это ты думал за меня?

Тот, на ком покоился свод небес, спросил с оттенком легкой укоризны.

Да, я ждал встречу с ним: рано или поздно она все равно бы состоялась.

Но мало ждать встречу – к ней надо быть еще и готовым. Вот тут-то и вышла заминка.

Время шло.

Тот, что пришел, ждал.

Я – молчал.

– Думал... Только не за тебя, а о тебе, – нашелся, наконец, я.

– Не лукавь...

Тот, к приходу которого я оказался не готов, задумался и

с хитринкой спросил:

– Ну что, выдюжил? Свод небес не рухнул?..

И, смеясь одними глазами, и ответил и спросил:

– Выдюжил, выдюжил... Только от меня не удалось увернуться, не так ли?

– Не того масштаба ты фигура, чтобы увернуться, – смущенно улыбнулся я.

– Допустим, – счел возможным тот, чей приход все же состоялся.

И без всякой дипломатии спросил в лоб:

– Зачем меня трогал?

– Я не трогал, а только прикоснулся, – сдержанно уточнил я.

– Не надо...

Тот, что стоял на пороге, досадливо поморщился и настойчиво повторил:

– Зачем меня трогал?

– Если бы не знал зачем, не прикасался бы.

После этих слов ко мне вернулась знакомая – вязкая, тягучая, плотная и постоянная – усталость.

Несмотря на это, я счел нужным уточнить:

– Прикасался не к тебе, а к твоей незримой, по сути – титанической – работе.

Но тот, на ком покоился свод небес, задал несколько переформулированный, мало отличающийся от исходного, как и до этого, – заставляющий думать, – вопрос:

– В чем польза работы давным-давно наказанного титана?

У меня на миг исчезла ясность мысли.

Вязкая, тягучая, плотная и постоянная усталость сменилась холодным равнодушием.

Но давно продуманное вышло наружу само по себе:

– Только наказанный может понять наказанного.

– Не факт.

Тон бесстрастного возражения, что стена.

– Может быть, – неопределенно выразился я.

Спорить о чем-то или оспаривать что-либо не было ни сил, ни желания.

Но тот, на ком покоился свод небес, не только изобретатель, настойчив, бесстрастен.

– Ну вот, сразу отступить! – с сожалением произнес он.

И стал невыносимо язвительным:

– Что, туговато с аргументами?..

– И да, и нет, – безразлично отреагировал я.

И попробовал отмахнуться от настырного вопрошателя:

– Аргументы – суждения о труднодоказуемом, прости, я сильно устал.

– А я – не тороплюсь!

Тот, что пришел, спрашивал.

Он спрашивал, даже отвечая, и оказался очень неуступчив.

Но давно продуманное нашло ответ и неуступчивости:

– Ненаказанный не поймет наказанного.

– Не факт.

Повтор бесстрастного возражения, что новая стена.

Это начинало выводить из себя.

И, с трудом сдерживаясь, я все же возразил:

– Ненаказанный актуализирован оптимистично и не горит желанием омрачать свое позитивное восприятие жизни.

– Заблуждение! – отрезал тот, что пришел.

Я думал: за нетерпящим возражение суждением последует выжидательное молчание.

Но тот, что пришел, решился на пояснение.

Это и сделало его пусть еще не близким, но уже доступным:

– Что думают другие – доподлинно знать невозможно. Постоянная неполнота знания чего-либо – грань абсолюта, что

сводит и разводит людей, но люди не так уж и плохи, как нередко принято о них думать.

– Что, будешь в меня прописные истины вколачивать?! – удивился я.

– А почему бы и нет?! – удивился в свою очередь тот, что пришел. – Прописные истины нуждаются в постоянном повторении.

И задумался.

Смягчив тон, зайдя издалека, вернулся к изначальному:

– Я – не первой свежести, – отнюдь не первый, – но далеко не темный миф, хочу знать: зачем прикасался ко мне?

И сделал шаг навстречу.

«Все-таки принял условие!» – мысленно улыбнулся я.

Вслух же сказал о главном:

– Ты долго молчал, вот и прикоснулся к тебе.

И – попал в точку.

Непоколебимо-невозмутимый завелся:

– До-о-о-ол-го-о-о-о!.. Ты утверждаешь, до-о-о-ол-го-о-о-о-о-о?!

Оттенок сарказма в начале реакции в ее конце сквозил признаками гнева.

Носитель свода небес неприятно сузил глаза.

Расправил плечи.

Раздул крылья ноздрей.

От частого дыхания вздымалась и опадала грудь.

«Нет, он все-таки титан, с ним шутки плохи!» – мелькнуло в мозгу.

Но титан, похоже, научился хорошо владеть навыками психической саморегуляции.

Несколько раз глубоко переведя дыхание, он совершенно спокойно констатировал:

– Я просто молчал. И – не потому, что молчание – золото.

Никому не дано быть абсолютно непроницаемым.

Никому.

Даже титану.

Его изящное вопрошание прошла давно скрываемая обида:

– Кто-нибудь когда-нибудь давал мне слово?!

Перебирая в уме перлы о нем, я растерянно выдавил:

– О тебе, конечно, вспоминали, что есть – то есть... Но, чтобы...

– То-то и оно. И так...

Предвидя, что за этим последует упрямое «зачем», я предположил:

– Кто постиг молчание, полагаю, мог бы и сам догадаться.

– Станция – место отправления, прибытия и перевалки грузов. Не так ли?..

Титан грустно улыбнулся, и спросил с оттенком печали:

– Хорош груз сжатия времени, если на крюке, где висело сало, – кукиш?

И снова задумался.

Неожиданно перевел тему разговора.

– Заснул?..

Показав взглядом на спящего у моих ног волка, задумчиво произнес:

– Он свое дело сделал: спел кому надо песню любви, и – отдыхает.

Тем же тоном продолжил:

– Хорошо сделанная и хорошо завершенная работа – залог хорошего сна, а как быть с работой незавершенной?..

И всего лишь повел плечами.

Небеса опасно заколебались.

Заколебался и я.

За долгое молчание титан съел, видимо, не одну собаку, и научился смущать жесткостью правды, облаченной в ис-

кренную доверительность интонации:

– Я – не судья твоей реальности, а тем более – не ответчик перед ней. Зачем прикасался ко мне? Надо ли так далеко ходить за ответами на вопросы своего времени?..

Была в его суждении истина, но и ошибка была!

Именно потому я сдержанно адресовал ему встречный вопрос:

– Все ли ответы на вопросы своего времени – в ведении настоящего?..

Титан, действительно, постиг молчание: он не ответил.

Но завидную пронизательность проявил сполна:

– Ты уходишь от прямых вопросов.

После некоторого раздумья, продолжил:

– Понимаю, понимаю... Страшно спрашивать у себя, в чем суть твоего незаслуженного наказания. Еще страшнее – нести ответственность за совершенное не тобою. Я когда-то ошибся в носителях веры, и это мое, но – заслуженное – наказание... А в чем смысл твоего наказания?.. Как говорится, судьи кто, и в чем твой грех?

– Наказание?!..

Я повторил не однажды произнесенное до этого слово и понял: вот он – ответ.

Ответ, проявив себя, растворил все составные моей давней усталости.

Она испарилась, словно ее и не было.

Медленно, взвешивая каждое слово, я стал просто перечислять:

– Однажды родившись, я не прожил свою, дарованную мне, – мою – *личную* жизнь.

– Убедительно.

Из уст титана впервые прозвучало согласие.

Обретая от поддержки почву под ногами, я, также взвешивая слова, продолжил:

– Я рождаюсь заново. Начинаю жить другой – уже второй по счету жизнью. Хорошо, что не учусь снова дышать, сидеть, ползать, ходить, говорить, думать...

– Значит, обучен и обучаем дальше, – тихо заметил титан.

– Может быть, – снова неопределенно ответил я: хорошая перспектива входила в явный конфликт с тем, что имело очень важное – пороговое – значение.

Порог, как до этого давно продуманное, обозначился сам по себе:

– В отличие от тебя, – бессмертного, у меня – конечная биография.

Титан утвердительно кивнул.

К заключению я пришел со спокойной и твердой уверенностью:

– Будущее – анонимно, но такое же беспокойное, как прошлое и настоящее. Да, оно станет по-своему прекрасным, но – и по-своему невежественным, и, если случится еще один катаклизм, на третье перерождение у меня не хватит ни биографии, ни ресурсов...

Титан согласно кивал.

В такт его движениям колебались море, степь, лес, горы, небо, солнце, луна...

Колебалась и замирала тишина.

Породив колебание, титан сам же и успокоил его, и, отдавая отчет нелицеприятности своего вопроса, спросил как можно мягче:

– А судьи, извини, кто?..

– Мне ли говорить, а тебе слушать? – упрекнул его я.

– Да-да, у моей сестры титаниды Фемиды повязка на глазах, – вздохнул он.

– Не хочет открывать глаза на страшные тайны, – сухо констатировал я, – вот и приходится судить самому.

– Так ведь никто не сделает этого за тебя!

Титан в очередной раз задумался, после чего убежденно заявил:

– Свой суд – лучший из судов: он не выносит приговоров!

– Выносит, и еще как! – не сдержался я.

– А зря, – с сожалением произнес собеседник.

– Не зря, – менее эмоционально, но все же возразил я.

– Я имел в виду не безоценочность восприятия жизни, – выбрался из логического тупика титан и, не скрывая обозначенную до этого ноту сожаления, озаботился:

– Сколько тех, кто сам полез в петлю?..

И совсем погрузился:

– Решение всегда за человеком: он – и следователь, и прокурор, и адвокат, и арбитражный суд, и не только: у каждого есть возможность обратиться в верховный суд – к суду своей совести, но... Следствие может оказаться ошибочным, приговор – несправедливым, защита – беззащитной, разрешение спора – необъективным, а обращения к суду совести еще дождаться надо. Себя оправдает каждый и, поверь, найдет для этого повод... Я так давно родился, а установления прямоходящим животным непротиворечивого самоустройства все жду и жду. Не в том ли грех?..

– Ждешь, и только?! – уколол его я, намеренно пропустив последний вопрос.

– Мое ожидание стоит того. Не в бирюльки играю! – заметил титан.

И насупился.

И снова напугал меня.

Напугал, всего лишь поведя плечами.

Он всего лишь повел плечами, а показал всю полноту своего ожидания.

Он всего лишь повел плечами, а привел в возмущение небеса.

Возмутив небеса, возмутил и море, и степь, и лес, и горы, и небо, и солнце, и луну...

И снова колебалась и замирала тишина.

– Не надо бояза, но не надо и торопиза, успееза!..

Колебатель сущего оказался непрост.

Намеренно исказив слова шутки, он скрыл за ними боль души.

Скрыв боль души, ответил даже на намеренно пропущенный вопрос.

Но шел он к чему-то более существенному.

И, сдвинув брови, собрав на лбу морщины, надолго задумался.

Выйдя из задумчивости, сказал о том, что касалось обоих:

– Мы упустили что-то очень важное.

Я кивнул.

И, обученный колебаниями тверди и небес, спросил с

осторожной расстановкой:

– А ты... не жалеешь... об ошибке своего выбора?

И – снова попал в точку.

Титан впал в транс.

Закрыв глаза и безвольно уронив руки, он беззвучно шевелил губами.

Ругался?

Восстанавливал в памяти пик своих переживаний?

Вспоминал тех, кто обманул его или тех, в ком обманулся сам?

Пришли на ум те, чью сторону он принял, а они канули в Лету?

Он – участник великой битвы богов.

Соратник тех, кого новые боги одолели только в союзе со Сторукими.

Единственный, кто вынес и выносит чуждый ему карнавал жизни.

Он был прекрасен в безмолвном осознании своей, – *личной*, – драмы.

Мне захотелось оставить его таким, – напряженно думающим.

Но свое веское слово сказали небеса: за ними всегда последнее слово.

Небеса опасно сползали с плеч титана.

– Осторожнее! – сдавленно вскрикнул я.

– Спасибо, спасибо!

Титан, перехватив тяжесть, удобнее устроил на плечах свод небес, и признался:

– Сейчас жалею, а завтра, может, – гневиться буду. Хотя, какая разница? Что жалость, что гнев – всего лишь эмоции, то есть моя, – собственная, – реакция на последствия моего же, – собственного(!), – выбора. Выбор, увы, зачастую чреват ошибками. Важнее вот что...

И медленно, взвешивая каждое слово, продолжил:

– Любая крупная схватка, а я был участником именно таковой, как правило, – битва за веру. Но битва та меняет только символы веры, но не ее саму.

– Блестяще!.. Судьба приверженцев вере до лампочки!?! – ощетинился я.

– Это сомнение, но – не более того, – уклонился титан.

Уйдя от прямого ответа, сказал о более значимом:

– Вера – мать прощения.

И очаровал непосредственностью:

– Когда сражался, был мал и глуп и не знал значения неко-

торых важных истин.

– Стало быть, о своем выборе жалеешь?.. – не отступился я.

Титан пожал плечами, отчего снова дрогнули небеса, и ответил с оттенком грусти:

– Я не был наемником, но не был и милым убийцей или вежливым насильником.

И раскрыл причину своего воскрешения:

– Не будь во мне веры, окаменел бы от одного взгляда головы медузы Горгоны.

И, отталкиваясь от личной драмы, вышел на универсальный уровень обобщения:

– Люди, разгадывая тайны пространственных форм и количественных отношений своего мира, выработали замечательное условие, и, если придерживаться его, – схватки теряют смысл: соблюдай условия закона больших чисел и с верой будет все в порядке.

От общего перешел к частному:

– Ты прав и неправ. Я бессмертен как миф, а на деле сочленен и сращен с каждым смертным: Атлантом называют первый шейный позвонок, к которому крепится череп. Так что на мне покоится не только сфера небес, но и сферы великого множества единственностей. Безусловно...

Он пресек возражение в зародыше и грустно улыбнулся:

– Во множестве единственностей есть и правила и исключения.

Переменные того и другого выразил функцией сфер множества единственностей:

– Все начинается в голове, в том числе, к счастью, и корневой вопрос бытия «зачем», а спасительный ответ на него есть постоянная целеполагания.

И остался последовательным до конца:

– Постоянная целеполагания и дала тебе ответ: когда будущее замахнулось на настоящее, тут же размылся и потерял очертания весь сквозной поток времени: он превратился во множество блужданий. Блуждания, к сожалению, убивают не что-нибудь, а служение целям и смыслу времени и приводят к усталости, а усталость – к духовной пустоте.

И попал в мою – самую болевую – точку.

Попав в нее, он – сам же! – и обезболил ее точностью попадания.

Внимательно посмотрев на меня, признался о своем:

– Знаешь, устают даже мифы.

Он тяжело вздохнул, и, переведя дыхание, с тихой улыбкой поведал:

– Мог однажды избавиться от этой клятой усталости.

С той же улыбкой изложил обстоятельство того – единственного – случая:

– Приходил один герой...

При слове «герой» его улыбка преобразилась в усмешку:

– В помощи нуждался!

И скупно обозначил причину нереализованной возможности:

– Слабоват оказался, слабоват. Вспотел и чуть не умер под гнетом моего груза: дыхание в зобу сперло, колени подгибались, поджилки тряслись. С тех пор не верю героям.

И вернулся к посылу усталости:

– В любой момент могу избавиться от этого груза.

Показав взглядом на свод небес на плечах, спросил:

– Кто запретит или осудит?

И сам же ответил:

– Никто!

После краткой паузы уточнил:

– Никто, кроме меня самого!

И пояснил подлинную причину невозможности отказа от своего удела:

– Я прошел самое страшное: пережил эпоху, когда некому и нечему было служить, а вот чего проходить не захотел, чего проходить не хочу и чего проходить не желаю никому, — это гибель таинства служения. Гибель таинства служения – не драма. Гибель таинства служения – трагедия. Я видел много

трагедий. Чаще всего их творили варвары. Опьяненные кровью и вином победы, они потом трезвели и после тяжкого похмелья, подсчитав живых и мертвых, возвращались к тому от чего не уйти, и, чтобы оставить во времени хотя бы тень, занимались не чем иным как сортировкой и перевалкой грузов и сами становились цивилизациями.

– Да здравствуют новые варвары! – съязвил я.

– Перестань, – поморщился титан, – варвары тоже меняются...

– Ну да, конечно, как-то забыл об этом!..

Последняя фраза заделала за живое, да так, что я начал исходить желчью:

– Импозантный джентельмен с белозубой улыбкой в смокинге с бабочкой и с рюмкой коньяка, бокалом виски или мартини в руке после светского раута может запросто отдать команду бомбить территорию суверенного государства на месте садов Эдема, излучающая оптимизм леди – воскликнуть «Вау!», любуясь переданному по спутниковой связи изображению окровавленного человека, замученного не без ее, – пусть опосредованного, – волеизъявления, а пьяный урод за рулем, которому взбрело, что он может все, – погубить семерых ни в чем не повинных, да к тому же и без него обделенных здоровьем и радостями жизни детей и взрослых!.. По-твоему, таким должен быть вектор всеобщего развития!?

Титан, не желая продолжать неприятную тему, перевел разговор в иную плоскость:

– Успокойся, успокойся... Тебе, к счастью, воду из одного корыта с ними не пить, так что радуйся... Важнее другое: я не верил героям, а вот ты по душе пришелся.

– Ошибочка вышла, – мрачновато отшутился я, – никакой не герой и даже не персонаж.

–?!

Попав в затруднительное положение, титан впервые растерялся.

Не дав ему опомниться, я сказал то, что думал:

– Герои похожи на гангстеров: бегают, убивают всех подряд и сами живут недолго.

– Ну-ну-ну-ну!..

Титан сделал губы гузкой и, похоже, обиделся.

– Извини, забыл, с кем говорю, – улыбнулся я.

– Не надо забывать! – нахмурился титан.

И вернулся к тому, что занимало его:

– Не герой?.. Не свой и не чужой и – в то же время – не лишний, но тот – кто достиг всепроникновения всего в себя и себя во всё?.. Тот, кто осознал реальность как постоянную незавершенность совершенства?.. Тот, кто руководствуется предпочтениями очень высокой степени избирательности?.. Знаешь, а я уже люблю этого незримого бойца линий оборо-

ны фронтов нескучной обыденности!.. Люблю!.. Ей право, есть у человека неусыпный страж от одичания, есть!

– Ты мыслишь в соответствии со своим статусом, и по-другому, наверное, не можешь, – остановил я поток сознания титана, – будь проще: мы имеем дело с феноменом голоса.

И нарвался на усмешку:

– А-а-а, вон оно что!.. Сыт по горло голосами, сыт настолько, что из ушей прет!..

На этот раз желчью начал исходить титан.

Он, видимо, не хотел слушать.

И, чтобы достучаться до него, пришлось уточнить:

– Я – голос молчания моего второго «я».

И достучался.

Некоторое время подумав, титан грамотно расставил контрапункты:

– Умение слушать молчаливую работу своего внутреннего голоса – уже культура. Культура самоисследования самоизменений. Мы, полагаю, имели дело с сокровенным человеком; он – сокровенный человек – всегда найдет время додумать свои мысли и ответить на свои вопросы. Я, как ты понимаешь, не просто молчание, а молчание, считай, еще дочеловека, и знаю: чтобы понять себя, надо подняться над собой и перерасти собственные пределы. Других способов преодо-

ления своей оппозиции к времени нет.

И, легко вскинув, удобнее устроил на плечах свод небес.

Неожиданно подмигнув, вернулся к тому, с чего мы начали:

– Ну что, выдюжил?..

– Без внешней помощи не смог бы, – сдержанно улыбнулся я.

– Извини, мало к тому причастен, – заметил титан.

– Еще бы, мы же – большие скромники! – поддел его я.

– Отнюдь, великан – он и в яме великан, а карлик – и на горе карлик, – отбился титан.

И объяснил подлинную причину своего прихода:

– Ищу сменщика, вот и проверяю ресурсы прочности человека. Человек меня придумал, человек меня и сменит: представления о мире, брат, изменились, а вот сущностные вопросы человеческого бытия – нет...

И, уже уходя, подарил метафору:

– Кто изведал тоску, тот, бывает, находит средство от разлуки, кто излечил себя разлукой, тот, случается, соединяет миры.

И, играючи вскинув, устроил на себе свод небес.

Повея плечами, уложил удобнее свой, – невероятной тяжести, – груз.

Облегченно вздохнув, поблагодарил:

– Спасибо за прикосновение: мне на вечность вперед легче стало!

Слова титана прозвучали как песня.

Лучшая песня, которую мне приходилось слышать до этого.

...За окном, в оттаявшей от раннего морозца лужице, отражались солнце и небо.

На миг вода показалась небом.

Небо – водой.

И пусть между ними не смеялось и не кувыркалось солнце, так знакомо и приятно закружилась голова: возвращалось до боли знакомое – щемящее – чувство.

Боже!..

Есть ли что прекраснее на свете, чем щемящее чувство радости быть в дороге?!

*Москва – Астрахань – Москва, август – ноябрь 1999 г.,
октябрь 2012 г.*